СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ



СТИХИ
ПИСЬМА
ДНЕВНИКИ

Сергей Чекмарев

Стихи. Письма. Дневники


СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ
МОСКНИГА

СТИХИ/ПИСЬМА/ДНЕВНИКИ

Подготовка текста,
литературная композиция
и вступительный очерк
С. Ильичевой

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1982

84Р7
Ч-37

У этой книги необычная судьба.
Произведения комсомольца Сергея Чекмарева, погибшего в 1933 году, в течение долгого времени были известны лишь самым близким ему людям. Только спустя двадцать с лишним лет после смерти Чекмарева его рукописи были обнаружены С. Ильичевой.
В результате большой, кропотливой работы из разрозненных дневниковых записей, стихов, писем была сделана книга, получившая широкое признание.
Сейчас книга дополнена новыми материалами, дающими возможность более полно воссоздать образ этого талантливого, всесторонне одаренного человека, ставшего примером для всей современной молодежи.
В 1976 году Сергею Чекмареву присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола.
Книга выходит во Всероссийской серии «Мужество».

Ч $\frac{70803-004}{M158(03)-82}$ 4803010102

О Сергее Чекмареве

Где-то в далеких просторах мироздания умирают звезды, но их живой и яркий свет еще долго посылает нам свои прямые и сильные лучи.

Есть люди, похожие на звезды. Человека уже нет, но его горевшее при жизни сердце продолжает излучать животворное тепло, свой чистый немеркнущий свет.

* * *

В Московском высшем техническом училище шли приемные экзамены.

Перед профессором в аудитории «Устная математика» стоял невысокий юноша. Узкогрудый и худощавый, он был похож на подростка. Взрослость придавали лишь строгие, умные глаза.

Уже немодная в те годы толстовка, вздутые на коленях брюки, поношенные парусиновые туфли красноречиво свидетельствовали о полном пренебрежении их обладателя к моде, к тому, что называется внешним видом.

Экзамен производил странное впечатление, он не был похож на обычную проверку знаний абитуриента опытным педагогом. Скорее, это было состязание «на выдержку» ни в чем не уступающих друг другу противников. Вопросы задавались трудные. Нужны были не только знания, но и находчивость и молниеносная реакция. Чем сильнее нападал старший, тем яростней парировал молодой. Его ответы были как выстрелы — быстрыми и короткими. Внешне он был совершенно спокоен. Ровный, уверенный голос, хорошо обдуманные слова, ни малейшей запинки, ни одной оговорки. И только тревожно бьющаяся жилка на тонкой шее выдавала волнение. Он отказался от предложенного ему стула и отвечал стоя, видимо полагая, что так ему будет легче отражать натиск «противника». Экзамен продолжался уже более часа, но, охваченный азартом этого необычного состязания, экзаменуемый не чувствовал усталости, потерял ощущение времени.

Первым сдался экзаменатор.

— Ничего не понимаю,— сказал он, пожав плечами.— Ведь вы все знаете! — Раздражение, звучавшее до сих пор в его голосе, сменилось недоумением.— Почему же вы с письменной не справились? Ведь у вас «неуд»!

— Не может этого быть! — Слова прозвучали тихо, но твердо.

— А вот мы сейчас посмотрим.— С этими словами экзаменатор развернул сложенный вдвое большой лист бумаги. Острый взгляд юноши выхватил четыре фиолетовые строчки, похожие на стихотворную строфу:

«Первая задача не доведена до конца.
Вторая не решена.
Третья решена.
Неудовлетворительно!»

На полях пламенели огромные вопросительные знаки.

Профессор склонился над листом и стал сосредоточенно его изучать. Юноша понял: письменную работу проверял кто-то другой. Тут уж спокойствие оставило его. Торопясь, проглатывая слова, слегка заикаясь, он стал объяснять свое решение задач.

— Первая задача была на построение! Правильно? Вот, пожалуйста, теорема доказана. Уравнение составлено. Правда, мое решение отличается от типового, оно короче и проще. Но ведь вы не станете отрицать, что в математике надо добиваться наиболее коротких и простых способов решения? — Голос звенел от отчаяния, какое охватывает человека всегда, когда нужно доказывать то, что и так очевидно, но когда эта очевидность игнорируется.

Не отрывая глаз от злополучного листа и не слушая абитуриента, профессор повторял:

— Какое невежество! Какое непростительное невежество!

— Но почему же? В чем? — Голос юноши сорвался, лицо побледнело, а ясные серые глаза стали темными, мрачными, колючими. Он готов был выслушать что угодно, но только не упрек в невежестве, потому что это был несправедливый упрек. Математику он знает! Знает больше, чем требуется! Разве он не доказал этого вот сейчас, выдержав столь пристрастную проверку?

— Это я не о вас говорю,— досадливо отмахнулся от него профессор.— У вас все правильно! Да и не только правильно. Задача решена остроумно, я бы сказал, талантливо! — И он размашисто, крест-накрест, перечеркнул вопросительный знак.

Перешли ко второй задаче.

— Здесь я хотел сразу же избавиться от иррациональности в знаменателе. Почему такому простому решению посвящено два вопросительных знака?

— Решение простое, ничего не скажешь. Но чтобы его найти,— профессор остановился и посмотрел в молодое, настороженное лицо,— чтобы его найти,— повторил он и неожиданно закончил: — Надо быть поэтом.

Ликующая улыбка разлилась по лицу юноши. Оно совершенно преобразилось — поголубели и подобрели глаза, а продолговатое лицо округлилось и стало нежным, как у девушки.

— В оправдание моего ассистента могу только сказать,— продолжал экзаменатор,— задачи ваши не из легких, и решили вы их очень интересно...— Перечеркнув и здесь знаки вопроса, он стал что-то быстро писать.

Юноша медленно опустился на стул. Только сейчас он почувствовал, как устал.

— Так вот, молодой человек,— в голосе профессора появились новые интонации — ласковые, сердечные,— вам надо идти в университет, на математический. У вас превосходные знания, умение самостоятельно мыслить и, я бы сказал, творческое восприятие математики.— И неожиданно спросил: — Сколько вам лет?

— Семнадцать.

— Семнадцать? — удивленно переспросил профессор и оглядел его с ног до головы.— Впрочем, вам больше и не дашь. Но когда же вы успели приобрести такие знания? Где вы учились?

— В школе-девятилетке. Я окончил вторую ступень.

— В шко-ле? — недоверчиво протянул профессор.— Положим, школа такие знания еще не дает.

— Я очень люблю математику. И много занимался самостоятельно,— как бы оправдываясь, пояснил юноша.

— Вот этому я могу поверить. Ну, желаю вам успеха. А совет мой учтите.— И профессор сжал тонкие пальцы своего недавнего «противника».

— Благодарю вас.— Взяв со стола экзаменационный листок, он устремился к двери.

«Кого это я сейчас экзаменовал? — подумал профессор.— Уж не новоявленный ли это Лобачевский?»

* * *

После шумных и многолюдных центральных улиц Москвы ее переулки кажутся тихими и пустынными. В один из таких переулков в конце 1908 года въехал скромный свадебный кортеж. Молодые супруги поднялись на четвертый этаж многоквартирного «доходного» дома и обосновались здесь на долгие годы.

Сохранилась фотография, на которой снята юная пара в день свадьбы. Высокая тоненькая девушка в белом подвенечном платье с длинным, стелющимся по ковру шлейфом. Пышные рукава, кружевные оборки на плечах. Что-то неуловимо своеобразное и трогательное в мечтательных, слегка прищуренных темных глазах, в беспомощно откинутой назад руке, во всем облике этой совсем еще юной супруги. Ее муж выглядит не старше, но прозаичнее жены. Длиннополый, наглухо застегнутый сюртук придает ему вид молодого купчика.

На двери квартиры, в которой поселилась молодая пара, появилась медная табличка: «Иван Федорович Чекмарев — зубной техник».

Через год, 31 декабря (по ст. стилю) под самый Новый год в семье Чекмаревых родился сын Сережа.

Раннее детство Сережи не было отмечено ни значительными событиями, ни своеобразием его первоначальных интересов. Как и многие его сверстники, он отдал дань увлечению верховой ездой на лошади из папье-маше, любил слушать сказки, собирать картинки... Но как только он научился читать, игрушки потеряли для него всякий интерес.

Вспоминая о детских годах сына, Анна Ивановна рассказывала: «Не понимая причин многих явлений, Сережа воспринимал их как божественное чудо. Таким чудом ему казались и книги. Как же он был удивлен и обрадован, когда однажды из разговора взрослых понял, что книги делают люди, а вовсе не бог».

После этого открытия Сережа уже не мог удовлетвориться только чтением. Не давало покоя желание сочинить что-нибудь самому Немало было затрачено усилий, немало испытано творческих мук.

С первыми его «писательскими» опытами знакомит нас рукописный журнал «Звезда» с пышным подзаголовком: «Литературно-художественный еженедельник». Двенадцатилетний Сережа Чекмарев — редактор и единственный автор этого «периодического издания». Его объем и размер составляют два листа ученической тетради, сложенных вчетверо.

Восторг юного редактора по поводу выхода в свет своего собственного журнала выливается в торжественную оду:

«Звезда»! Приветствую тебя
И номер твой первоначальный!
Мне скучно было без тебя,
И я ходил все дни печальный.
Теперь, когда ты вышел в свет,
Печали той в помине нет...
И я на стульчике сижу
И нежно на тебя гляжу.

А вот и содержание одного из номеров этого журнала-малютки:

Бобик. Стих. С. Чек.
Сатира. Стих. С. Чек.
Толнада. Поэма С. Чек.
Приключения Алладина. Сказка С. Чек.

Детская наивность и трогательная непосредственность этого «содержания» и самих «материалов» не могут не вызвать улыбки. Вместе с тем уже эти первые «литературные» опыты свидетельствуют не только о серьезном отношении к делу, но и о широте «писательского диапазона». Здесь и проза и поэзия, и лирика и эпос, сатира и юмор. В дальнейшем эта разносторонность примет более отчетливые формы. В его журналах появятся публицистика, литературная критика, научно-популярные очерки.

«Издание» рукописных журналов «Звезда», «Метеор», «Телескоп» было для Сережи Чекмарева подлинной страстью. Вначале он — единственный автор своих изданий, но с ростом объема журнала создается и «авторский актив». Это младшие сестры и брат, выступающие на страницах «литературно-сатирического и научно-популярного» журнала под таинственными псевдонимами: Черная маска, Перси, Мистер Ким, Селен, Серый. Изредка принимает участие в журнале также и старший Чекмарев. Иван Федорович одобряет полезное занятие детей и, кроме того, сам не прочь «побаловаться стишками».

Уже в этих ранних рукописных журналах мы находим такие стихи, такую прозу, в которых чувствуется стремление автора выразить свои собственные мысли, найти свои слова, сюжеты, образы. Эти настойчивые поиски собственного поэтического голоса подчас приводят к тому, что он называл «игрой а созвучия». Но такие «находки» тотчас же отбрасываются. Формалистическое трюкачество он не прощает ни себе, ни другим. «Скучна игра с созвучиями, за спинами которых не прячется мысль»,— записывает он в своем дневнике. Вместе с тем Чекмарев никогда не пренебрегал формой. Борьба с формалистами в искусстве приводила в те годы некоторых писателей и критиков к нигилистическому отрицанию значения литературной формы. Такая позиция была чужда Чекмареву. И дело здесь не только в его позиции — чувство формы и в прозе и в поэзии было свойственно ему органически. В его рассказах «Дикий случай», «Гениальный человек», написанных еще в 16—18 лет, проявилось его умение пользоваться такими трудными жанрами, как новелла, психологический этюд. Незаурядная наблю-

дательность, точно схваченная деталь помогают ему на трех-четырех страницах создать образ мелкого приспособленца, умеющего в любых условиях обеспечить себе легкую жизнь и не желающего вместе с другими делить бытовые затруднения, столь естественные для первых лет революции («Гениальный человек»).

Негодование по поводу разного рода приспособленцев — чувство, сопутствующее Чекмареву на протяжении всей его жизни. В рассказе «Дикий случай» на фоне детективного сюжета раскрыта психология человека, душой не принявшего революции, но вынужденного приспосабливаться к новым для него условиям. Его маниакальная сосредоточенность на страшной для него мысли лишиться кошелька приводит к тому, что он лишается значительно большей для него ценности — золотых часов. Дело здесь, конечно, не только в часах и не в самом образе шкурника. Рассказ символичен. Юный автор стремится внушить читателю мысль: в стране, где моральные ценности дороже денег, цепко держась за кошелек, можно легко и незаметно лишиться большего — чувства собственного достоинства, чистой совести.

К ранним годам творчества Чекмарева относится ставшее недавно известным стихотворение «Выписка из протокола» — своеобразное по форме и необычное по содержанию. Лирический герой представлен здесь не как целостная личность. Он как бы разъединен на три составные части. Каждая из них живет своей обособленной жизнью, у каждой свои требования, свои интересы, своя логика. «Товарищ Глаза» — интеллектуал, «товарищ Руки» — работяга, для которого старый, устоявшийся деревенский уклад представляется единственно правильным и надежным, «товарищ Желудок» — существо, ограниченное физиологическими потребностями. Каждый из них несет в себе какую-то свою правоту, и ни одну из них нельзя полностью принять. Из-за узости, однобокости взглядов они не могут понять друг друга. То, что дорого одному, чуждо другому. Возникает явление, которое в наше время принято называть некоммуникабельностью.

Стихотворение задумано как шутка, но шутливая интонация где-то переходит в ироническую, раскрывая тревожное отношение 19-летнего автора к теме.

Беседуя с товарищами Чекмарева, знакомясь с его неопубликованными записями, в которых чувствуется еще не остывший пыл принципиального спора, я не раз обнаруживала его стремление противопоставить широту взгляда субъективной ограниченности. Не всегда в таком столкновении сил ему удавалось одержать победу. Но это уже другая сторона вопроса. Важно то, что однобокость мышления была ему чужда. А ведь именно такое мышление и создает взаимное непонимание и недоверие. И он борется против него теми средствами, которыми располагает.

Эти стихи, как и многие другие, автобиографичны. Но способность создавать обобщенные образы выводит замысел из сферы интимной в сферу общественно значимую. И факт личной биографии поэта становится фактом литературным.

* * *

Журналы, письма, стихотворения Сергея Чекмарева можно было бы условно назвать путевыми заметками, если в слово «путь»

вкладывать понятие жизненного пути. Они дают представление о том, как обогащались его ум и душа, как серьезно и вдумчиво он жил. Это поиски не только поэтического голоса, но и своего места в жизни.

Юный поэт писал для себя или для близких ему людей.

Скромный и взыскательный к себе, Сергей откладывал встречу с читателями на вторую половину своей жизни. «Первую половину своей жизни буду писать для себя, вторую — для всех. Вначале буду жить, а потом писать о жизни». Так программировал он свое настоящее и будущее.

Встреча с широким читателем для Сергея Чекмарева представлялась возможной лишь тогда, когда ему удастся создать нечто значительное и фундаментальное. А пока он писал «для себя», потому что не писать он не мог. «Моя жизнь неразрывно связана со словом, с этими вот лиловыми чернилами, с этими вот крючочками, и оторвать ее от этого нельзя. Моя жизнь как-то неотделима от ее описания. Когда со мной случается что-нибудь интересное, мне невольно думается, как я это опишу. Я слежу иногда за собой, как за героем романа, думаю: «Вот это завязка»,— гадаю, как пойдет дело, лишь для того, чтобы все это описать». Сам того не зная, он уже писал для всех нас. Его интимные записи, его «заметы души» оказались интересными и значительными не только для тех, кто его близко знал. И то, что он мечтал осуществить в будущем — лишь во второй половине своей жизни, он уже делал в своем настоящем.

Но ведь это жизнь одного человека, к тому же никому не известного. Почему же так волнуют его сугубо личные записи, почему проникает в сердце каждая его строка?

Сергей писал о себе, о своих мыслях, чувствах, о том, что волновало и радовало его. Да, это личная жизнь, но какая светлая и чистая, какая наполненная и значительная. В ней нашла свое отражение жизнь целого поколения.

Юность Сергея Чекмарева типична для молодого советского человека конца двадцатых и начала тридцатых годов. Это поколение, воспитанное на новых моральных принципах, отличалось высокой идейностью, гражданской активностью, готовностью к подвигу. Появившееся на свет слишком поздно, чтобы принять участие в революции, в гражданской войне, оно заняло достойное место в передовых рядах бойцов трудового фронта, в борьбе за социалистическое преобразование страны. Знакомясь с биографией Сергея Чекмарева, мы как бы переносимся на строительные площадки Комсомольска-на-Амуре, индустриальных гигантов первой пятилетки. Перед нами возникают картины классовой борьбы в деревне. Мы как бы присутствуем на старте первого советского многомоторного самолета «Крылья Советов», впервые облетевшего Европу, на просмотре первого звукового фильма «Путевка в жизнь». Со всеми этими приметами времени переплетается индивидуальная судьба молодого человека с трогательной личной линией, с трагической развязкой, со всем неповторимым своеобразием, свойственным подлинному таланту.

Сергей живет интересами не только своей страны, но и тем, что происходит далеко за ее пределами. В Англии — длительная героическая забастовка горняков, и он внимательно следит за мужественной борьбой английского рабочего класса. Весь мир потряс

позорный для американского правосудия процесс над революционерами Сакко и Ванцетти, приговоренными к смертной казни. Взволнованный и возмущенный, он посвящает этому событию стихотворение «Для памяти». И пусть эти стихи во многом еще недоработаны, они подкупают предельной искренностью и удивительным для шестнадцатилетнего подростка знанием этого сложного и сопротивляющегося стихам материала.

И чтоб эту боль
Не забыть второпях,
Не простить озверелой банде,
Я хочу на своих полотняных стихах
Завязать узелок для памяти.

И память жадно вбирает все, что происходит в большом и тревожном мире. Она, эта память, хорошая помощница его широко раскрытой жизненным впечатлениям души, чуждой равнодушию, эгоизму, себялюбию.

В молодой Советской Республике создавалась новая культура, новые моральные ценности. Нужно было определить свое отношение к таким «вечным» понятиям, как счастье, любовь, смысл жизни. В горячих спорах рождалась новая идеология. Клуб ФОСПа [1], Политехнический музей, Коммунистическая аудитория 1-го МГУ были в те годы и народными университетами, и ареной острой литературной борьбы. Именно сюда неудержимо влекло школьника, а затем и студента Сергея Чекмарева. В его дневниках сохранились записи, сделанные под свежим впечатлением только что прослушанной лекции, беседы, поэтической дискуссии.

Сергей не только внимательный свидетель, но и активный участник этой борьбы. Он пишет литературно-критические статьи, рецензии на книги, пародии на стихи популярных поэтов, проявляя отличное знание современной ему поэзии, сложной литературной обстановки тех лет.

Когда знакомишься со статьями Чекмарева, в которых он пытается отразить злобные, несправедливые нападки на Маяковского, невольно удивляешься прозорливости этого самодеятельного «литератора».

Конечно, для современного читателя статьи, написанные Чекмаревым в 20-х годах, не могут явиться открытием, новым взглядом на творчество Маяковского. В нашей печати в сороковых и пятидесятых годах нашло объективную оценку все то, что было несправедливо сказано в адрес Маяковского при его жизни. Поэтому сейчас доказывать, например, что книга Шенгели «Маяковский во весь рост» была одиозной, нет необходимости. Но ведь Сергей писал об этой книге и о ряде других ошибочных произведений тогда, когда в печати они еще не получили должной оценки. И ведь принадлежало все это перу не профессионального литератора, имеющего за плечами и специальную подготовку и опыт, а школьника, подростка.

[1] ФОСП — Федерация объединений советских писателей.

* * *

Активная, но никому не известная литературная деятельность Сергея Чекмарева в силу сложившихся обстоятельств была не только своеобразной формой его участия в поэтической борьбе тех лет, но и единственной формой его вторжения в жизнь.

Увлечения Сергея Чекмарева были всегда глубоки и серьезны. Еще в школьные годы его привлекает железная логика математических доказательств, с одной стороны, и с другой — широкая возможность для фантазии. Математика или поэзия? Такой дилеммы для него не существует. В его представлении это две сферы творчества, близкие одна другой. Так же, как и в поэзии, он ищет в математике конкретные способы воплощения творческого замысла.

Но как же могло случиться, что одаренный поэт и способный математик становится вдруг зоотехником?

Опасения профессора на экзамене МВТУ по поводу того, что юноша поступит в вуз, готовящий инженеров, а не математиков-теоретиков, были напрасны. Сергея не приняли ни в МВТУ, ни в университет. Не приняли, несмотря на то, что он блестяще сдал экзамены в оба вуза. Какая несправедливость! — воскликнет читатель, для которого 20-е годы — давняя история и который не знаком со всеми закономерными трудностями тех лет.

У нас еще не было такого большого числа вузов и техникумов, какое имеется в настоящее время, а наплыв в них был огромный. Кроме того, при приеме предпочтение отдавалось тем, кому до революции путь к высшему образованию был закрыт — рабочим от станка, с производственным стажем. Сергей принадлежал к той социальной категории, которая преимуществами при поступлении в вуз не пользовалась. За его плечами — только средняя школа, производственного стажа — никакого. Три года подряд Сергей отмечается в столе учета биржи труда, где он зарегистрирован как счетовод, но все надежды на получение работы оказываются тщетными. И здесь у него тоже никаких преимуществ. В первую очередь получают работу кормильцы, обремененные семьей, опытные специалисты, члены профсоюза.

Я представляю себе недоумение моего юного современника, вызванное последними двумя словами. Ведь он не знает, что означало в 20-х годах быть членом профсоюза, в те годы, когда существовали такие понятия, как «безработица», такие социальные категории, как «нэпман», «кулак», «лишенец», принадлежность к которым лишала права вступать в профсоюз. Сергей не имел отношения к этим категориям. Но он был членом семьи служащего и считался «иждивенцем». Конечно, чувствовать себя иждивенцем и формально и фактически было тягостно для энергичного и способного юноши, все существо которого рвалось к полезному труду. В таких обстоятельствах можно было и озлобиться и потерять веру в справедливость, «в лучшее будущее». Но не таков был Сергей Чекмарев.

Я верю, я охотно верю
В людскую светлую судьбу —
Нет места в человеке зверю,
Как нету мест в МВТУ,—

пишет он в одном из своих незаконченных стихотворений «За отсутствием мест». И это не только слова. В его душе нет места ни «зверю», ни пессимизму. Он готов отказаться от мысли стать инженером, готов работать кем угодно, только бы быть там, где создается новая жизнь, «где пульс стучит» и где еще подчас «льется кровь».

Именно эта искренняя готовность отдать себя целиком делу рабочего класса заставляет его пренебречь тем, что было его призванием, и решиться стать зоотехником. Узнав, что в Воронежском сельскохозяйственном институте создана дополнительная группа, он посылает туда свои документы.

Еще одно важное обстоятельство оказало большое влияние на это решение.

Советская деревня становилась на новый, социалистический путь. Она испытывала острейшую нужду в квалифицированных специалистах. Каждое лето семья Чекмаревых жила в деревне Беззубово Тульской области. «Божественному Беззубову» Сергей посвятил много теплых строк. Но перед глазами Сергея возникают не только идиллические картины. Хозяйственное запустение, нищета, средневековые способы производства, «деревянные сохи», низкие урожаи — все это вызывает протест в его душе. Сочувствием и возмущением, болью и гневом проникнуто стихотворение «Губерния бывшая Тульская». Поэт обращается с горячим призывом ко всем, в ком «бьется сердце большевика», вырвать из «плена тысячелетий» одну из самых отсталых в прошлом «бывшую губернию», превратить ее землю в «плодоносное чудо».

По черным лесам,
по огромным равнинам,
Во всех концах
необъятной карты
Гудят призывы:
«Кадры нужны нам!
Кадры дайте!
Дайте кадры!»
(*«Штурмовой квартал»*)

Эти строки будут написаны несколько позже, но уже сейчас, с первых же шагов коллективизации, он отчетливо представляет себе, как необходимы новой деревне «кадры» — люди с «сердцем большевика» и с головой ученого. Однако недостаточно призывать других, надо и самому активно вмешиваться в жизнь, самому принять участие в переделке мира заново».

Пытливость ума, разносторонность интересов в сочетании с неуемной энергией и искренним желанием отдать себя полезному людям делу образовали, таким образом, ценнейший сплав: «характер страстный и без рисовки героичный» (К. Федин).

Быть там, где ты больше всего нужен, где наиболее трудно,— это требование к самому себе становится девизом Сергея Чекмарева. И это не только слова, не поза и не продиктованная обстоятельствами необходимость. Этому девизу он остается верен до конца своей жизни, потому что это его нравственная позиция. Он иначе поступать не может.

Что особенно подкупает в Чекмареве-человеке? Это единство убеждений и поступков. Сколько мы знаем случаев, когда прекрас-

ные мысли остаются на бумаге, а благородные намерения не находят своего воплощения в столь же благородных поступках. У Чекмарева этого не бывало.

Он мог заблуждаться, быть излишне доверчивым, делать практические ошибки, но не следовать своим убеждениям, поступать вопреки им он не был способен органически.

* * *

При всей разносторонности его интересов животноводство было самой отдаленной от его пытливого ума областью знаний. Но вот перед нами его воронежские письма. Какой неудержимой радостью, каким ликованием проникнуты они! И какие выразительные образы находит он, описывая новые или малоизвестные для него науки.

«Сейчас я изучаю червей — феерию пышных латинских названий...— пишет он в одном из писем.— Диботриоцефалюслятус — что за дикое слово, не правда ли? А ведь, может быть, он сидит у вас в животе, глупый, безглазый, бескишечный, сидит сытый и ощущает, довольный, все свои десять метров».

Он не просто изучает ботанику, а попадает в «объятия хламидомонады». А листы учебника «цветут» для него как экзотические растения.

Сергей безгранично счастлив от сознания, что он уже не «иждивенец», что он занят полезным делом, и уже это одно расцвечивает в яркие и радостные тона его неуютную и полуголодную воронежскую жизнь. Здесь проявляется особая, чекмаревская черта — умение находить источник для жизнерадостности там, где никто другой бы не искал. Эта черта — его постоянный жизненный спутник, она будет выручать его в самые тяжкие минуты.

Творческое восприятие математики, отмеченное профессором, с полным правом можно отнести ко всему тому, за что брался Сергей. И пусть это будет самое рядовое, самое будничное и незаметное дело — он отнесется к нему с захватывающим интересом. И занятия с неграмотными крестьянами в воронежском селе, и военные учения в студенческих лагерях, и выпуск комсомольской стенгазеты, и составление частушек на местные темы — все важно, все увлекательно, все интересно. А потом он найдет такие слова, такие краски, что перед нами уже не повседневные явления, а полные своеобразия и романтики картины. Юношеский восторг, с каким он воспринимает все многообразие жизни, и его талант, проявившийся не только в творчестве, но и в умении заинтересованно жить, создают особое, чисто чекмаревское зрение. Своими близорукими (от запойного чтения) глазами он видит то, что не дано увидеть другим:

«Сто семьдесят дворов выстроились шеренгой в один ряд, встречая меня, командира азбуки. Вьюга молодцевато прокричала свое приветствие».

«В переднем углу моей комнаты, там, где обычно вешают иконы, висит картина с тремя огромными рыбами. Комнаты пустынны, товарищи все разъехались. И когда вечером солнце бросает фиолетовый отблеск и сумерки окутывают окна, я кажусь сам себе необычным. Мне кажется, что я дикарь, рыбопоклонник, что лишь странная случайность привела меня в эту комнату. Мне хочется бе-

жать по берегу и кричать, и вытатуировать на груди формулу динитробензола. «Нет бога, кроме рыбы»,— бормочу я, садясь к столу и составляю конспект по политэкономии».

«Да, как я там устроился? Очень хорошо жил, как в сказке».

Дело здесь не только в том, что он не хотел огорчать родителей и не писал всей правды о своей жизни в Воронеже. Своим мысленным взором он видел эти романтические картины, и они заслоняли от него подлинную действительность — полутемную комнатушку, в которой негде было повернуться и где, кроме него, находились еще трое студентов, без особого восторга принявшие четвертого постояльца. И отсутствие света по вечерам и воды, за которой надо было ходить довольно далеко на реку по скользкой обледенелой дороге, и долгий путь до трамвая, и голодный сон без ужина. Между прочим, воду должна была приносить хозяйка, но Сергей отнимал у нее ведра или спешил принести воду до того, как она встанет.

Она, любовь, с тобой у нас
не распускалась розою,
Акацией не брызгала,
сиренью не цвела.
Она шла рядом с самою
обыкновенной прозою.
Она в курносом чайнике
гнездо свое свила.

Эти строки, обращенные к любимой девушке, можно было бы целиком применить ко всей двадцатитрехлетней жизни Сергея Чекмарева. Да, она шла рядом с самой обыкновенной прозой, и, может быть, именно поэтому и его поэзия, лишенная искусственных красивостей и внешних аксессуаров, испытала на себе самую трудную проверку — проверку временем.

* * *

Сергей прожил в Воронеже с осени 1929-го до лета 1930 года. Животноводческий факультет, на котором он учился, был ликвидирован. И Чекмарев перевелся в Москву, в мясо-молочный институт Тимирязевской академии.

И вот снова Москва — или, как он образно ее называет, «левое предсердие мира».

Годы учения в институте — в Воронежском, а затем в Московском мясо-молочном — буквально перенасыщены общественными обязанностями. Рейды «легкой кавалерии», активное участие в научном кружке (неактивных, формальных участий Сергей не признавал), частые командировки в колхозы («на силос», на сеноуборку, на подготовку к весне) отрывали от занятий, в результате чего создавалась академическая перегрузка. С первых же дней возвращения в Москву он с головой уходит в работу институтской многотиражки. В некоторых номерах мы встречаем за его подписью по три-четыре корреспонденции (газетным правилам вопреки) по самым разнообразным вопросам. Его журналистская страсть находит для себя сферу действий, а институтская печать приобретает безотказного, вдумчивого и талантливого корреспондента. Все его выступления проникнуты ленинским призывом: побольше конкрет-

ности, поменьше пустозвонства. Этими же принципами он руководствуется и в своих семинарских выступлениях, всегда хорошо подготовленных, деловых и самостоятельных.

Сергей хороший товарищ — много времени он отдает, помогая отстающим в учении сокурсникам. Делает он это, никогда не подчеркивая своего превосходства перед тем, кто меньше знает, хуже учится. Воспоминания товарищей Сергея по институту глубоко трогают. Плохо одетый и почти всегда голодный, он часто пешком (нет денег на трамвай) измеряет Москву из конца в конец, чтобы помочь отстающему. Эта тема требует особого разговора, и здесь, на столь ограниченном «плацдарме», я хотела бы только отметить, что все доброе, исходившее от Чекмарева, принималось окружавшими его людьми как само собой разумеющееся. Так естественно и просто он это делал.

Но ведь, кроме всего этого многообразия дел, с ним постоянно была поэзия, и именно за этот период стихов было написано больше, чем когда-либо. Приходится только удивляться, как мог он для всего находить и время, и душевные силы, и вдохновение.

Последний год учения в Москве отмечен очень важным событием, имевшим большое влияние и на его жизнь и на поэзию. К Сергею пришла любовь, о которой он так долго мечтал. До двадцати двух лет он жил в большой тревоге, опасаясь, что никогда не сможет по-настоящему полюбить. «Страшно, что вся жизнь пройдет вот так, без горячего чувства, без той лихорадки ядовитой, которую я краешком захватывал, пройдет, как эта холодная ночь проходит, как поезд проходит, и жизнь не вернешь так же, как поезд».

Но она пришла, эта настоящая любовь, принеся с собой и радость, и боль, и надежды, и отчаяние. Последние полтора года жизни Сергея Чекмарева наполнены любовью, которая требовала от него большого мужества. И в этом чувстве проявились чистота его души, цельность натуры, благородство помыслов и поступков

Чувство возникло внезапно. Оно росло с каждым днем, и, когда появилась надежда на взаимность, выяснилось, что его любимая Тоня принадлежала другому человеку и ждет от него ребенка. Тоня учится с Сергеем на одном факультете. Многие товарищи знали историю ее печального романа, хотя она тщательно скрывала даже имя того, кого любила и кто фигурирует в стихах и дневниках Сергея под таинственной маской: «доцент». Но, как часто это бывает в жизни, тот, кого это касалось больше всего, узнает правду последним. В подобной ситуации возможны разные варианты. Самый легкий — порвать всякие отношения с любимой и остаться в стороне. Сергей выбирает самый трудный вариант. Он пытается силой своего чувства, безграничной преданностью преодолеть преграды, возникшие на пути к сердцу Тони.

Любовь Сергея, как горька она ни была, обогатила юношу и его стихи новыми чувствами, новым содержанием. Он стремится освободить Тонину душу от привязанности к недостойному человеку — пошляку и пенкоснимателю, вырвать ее из состояния мрачной безнадежности, вернуть ей веру в будущее. Эту нелегкую задачу должен был разрешить двадцатидвухлетний юноша, почти мальчик, сам бесконечно влюбленный без надежды на взаимность.

Борьба эта требовала не только душевных сил, но и творческих. Да, я не оговорилась. Стихи были одним из средств в этой

борьбе. И мы видим, как мужает от пережитых чувств поэт и как мужает и обогащается новыми красками и новым смыслом его поэзия.

Жизнь рождала поэзию, для жизни рождались стихи.

Вместе с новой темой в его стихах появляются и новые стилистические приемы. И хотя по-прежнему здесь сохраняются и публицистическая страстность, и гражданская активность, и патриотическая направленность, формальные приемы, навеянные поэтикой Маяковского, начинают уступать новым, более органичным для Чекмарева и вместе с тем поэтически более самостоятельным. Необходимость этого перелома Сергей сам ясно сознает и программирует его в своем содержательном стихотворении «Баллада о простоте». В его стихах возникают новые интонации, мечтательные и доверительные:

Гляди, уже по Лиственной,
Где институт мясной,
Тревожною, таинственной
Повеяло весной...

И полные страсти и горячего чувства строки:

Весь этот пыл мучительный
не выражу словами я,
Но ты не просишь этого,
ты чувствуешь сама
Мои ладони робкие,
мой взгляд, мое дыхание,
Биенье сердца мальчика,
сведенного с ума.

И удивительно чистые, непосредственные и жизнелюбивые стихи:

Я рад сегодня облаку,
Морозу, снегу, инею,
Сверканию луча.
Какое счастье это вот —
Идти с тобою об руку,
Идти с тобой и чувствовать
Касание плеча.

При всем многообразии жанров, в которых пробовал свои силы Сергей Чекмарев, самым сильным в его творчестве является лирика. Именно в лирических стихах раскрылись своеобразие и выразительная сила его поэтического дарования. От первых по-детски наивных и расплывчатых стихов он приходит к емким, лаконичным строкам, приобретающим часто афористическое звучание.

Мне борьба поможет
быть поэтом,
Мне стихи помогут
быть борцом,—

писал он в одном из своих незаконченных стихотворений. И это не только слова. В Чекмареве поэт и борец за будущее составляют единое целое.

Разнообразные по интонации, оригинальные по форме, его стихи всегда несут в себе интересные мысли, глубокие раздумья, значительное содержание. Лирический герой Чекмарева — это комсомолец 30-х годов. Это страстный, умный, мужественный, самостоятельно мыслящий человек.

* * *

Месяцы напряженного учения в институте сменяются месяцами активной работы на студенческой практике. И с той же страстью, с какой он отдается своим занятиям, общественной работе в городе, он стремится овладеть практикой сельского хозяйства, борется за переустройство деревни на социалистический лад.

Строго говоря, практики как таковой у него не было, поэтому приобрести хоть небольшой опыт для будущей самостоятельной работы в совхозе ему не удалось. Работа в колхозах Воронежской области, а затем на Урале была главным образом организационно-пропагандистской. Он добивается добровольного вступления крестьян в колхозы, руководит курсами животноводов, ведет большую воспитательную и организационную работу с деревенским комсомолом. Условия работы были чрезвычайно сложными даже для опытных партийных и комсомольских работников. А ведь у Сергея, по существу, и опыта никакого не было. Есть основания предполагать, что он руководил комсомольской работой в уральских селах — Еткуле, Еманжелинке и других, не будучи еще комсомольцем. Но независимо от того, состоял он организационно в комсомоле или нет, он был ленинцем в душе. Ленинские мысли он не только изучал по программе, он их воспринимал вдумчиво, творчески, и они становились и его мировоззрением, его жизненной программой, руководством к действию. Они как бы освещали изнутри его высказывания о смысле жизни, о борьбе, о счастье.

Только истинный ленинец мог бы написать такие строки в своем дневнике, заведомо зная, что их никто не прочитает: «Я готов бороться за лучшее будущее человечества не в силу аскетического самоотвержения; эта борьба сделает мою жизнь наиболее полной и богатой, потому что я испытываю живой интерес к ее целям».

Этот живой интерес «к целям» — к коммунизму, эта душевная дума о людях, всегда сопутствующая Сергею,— его жизненная программа, и она целиком вписывается в его характер, «страстный и без рисовки героичный».

Сергей Чекмарев умел видеть большие перспективы в самом малом и, казалось, незначительном и старался передать это умение своим слушателям. Он говорил и писал:

«Теперь главное в воспитании состоит в том, чтобы человек знал и любил свою работу, чтобы он умел хорошо выполнять свою работу, чтобы он перспективы всей нашей гигантской стройки видел за этой работой и чтобы он вместе, в ногу шел со всем нашим многомиллионным коллективом».

Беседы с крестьянской молодежью, его советы младшему брату (а ведь самому Сергею было двадцать-двадцать один год!) представляют собой хорошо продуманную систему воспитания вступающего в жизнь молодого человека новой эпохи, нового мировоззрения.

В недавно найденном стихотворенин поэт, обращаясь к сыну, которого у него никогда не было, но которого ему страстно хотелось иметь, раскрывает свою тревожную думу о будущем «племени младом и незнакомом». Первые строки стихотворения представляются сугубо личными, интимными, но, как и в других его стихах, личная тема незаметно перерастает в общественно значимую. Наказ сыну, каким он должен быть и каким не должен, воспринимается как поэтическое послание в будущее, о котором он так много думал и мечтал.

Чтоб шел по планете не горбясь,
лишь песню призывно трубя,
Чтоб был бы за все он в ответе,
не рвал бы у жизни края.
И вот что, мой сын, запомни
и постарайся понять:
Вдыхать надо каждый запах,
но только цветы не мять.
Возиться над каждою краской,
но только не пачкать лица,
В ракете прокалывать звезды,
земные не ранить сердца.

Завещая гуманные чувства, он предостерегает от всего того, что может омрачить созданный им образ человека будущего — с головой ученого и «с сердцем большевика». И он не только завещал это другим. Во все, что делал Сергей, он вкладывал и сердечную теплоту, и личную причастность к окружающим его людям. «Я старался быть проще, вести занятия живее, душевней»,— читаем мы в одном из его писем из Уральской области.

«Душевней»! Это слово, не очень популярное у большинства пропагандистов тех лет, пожалуй, лучше всего объяснит, в чем была особенность работы Сергея Чекмарева. Именно в этой душевности, в его любви к людям, в его человечности, в творческом отношении к любой работе, к любым своим обязанностям — ответ, почему так полюбили Сергея комсомольцы Еткуля и Еманжелинки и почему пришелся он так по душе нашим юным современникам.

Понимание сложных процессов, происходивших в деревне в первые годы коллективизации, умение разгадать нутро и повадки врага, а также нейтрализовать болтуна и водолея, бившего своей фразеологией мимо цели, нашли отражение в его своеобразных письмах. Поездки в деревню, которые он воспринимал как боевые задания («мы солдаты второй большевистской весны» — так называет Сергей бригаду студентов, отправляющихся на весенне-посевную кампанию 1931 года), не только закалили его политически, но и дали ему богатый жизненный материал. В условиях больших трудностей, в ожесточенной схватке со старым здесь создавалась новая жизнь. Она властно врывается в его прозу и поэзию, предстает перед нами в реалистических портретах, в живых, полных конкретности и достоверности картинах. Сколько интересных тем он поднимает в своих письмах, какую разнообразную форму он для них находит! Письма-новеллы, письма-очерки, письма-портреты, письма-стихи, письма-раздумья — в них он стремится сохранить живые оттенки услышанного, точно и заботливо передать разнообразие впечатлений. Здесь мы встречаем и страстную публицистику,

и острую сатиру, и мягкий доброжелательный юмор, и глубоко человечную лирику, полную радости, жизнелюбия, солнечного света.

Новелла «Утонула собака», стихотворение «Где я? Что со мной?» и другие зарисовки и стихотворения уральского периода представляют собой интереснейший сплав художественного вымысла и документальности. Впрочем, это можно было бы сказать обо всем наиболее зрелом периоде творчества Сергея Чекмарева. В этом органическом единстве живут все его вещи, и, может быть, именно это единство в сочетании с предельной искренностью и юношеским энтузиазмом составляет своеобразие и очарование его творчества. Именно это делает столь достоверным все то, что он описывает в своих стихах и письмах.

Сергей очень охотно обращается к «малым» формам. Тексты для живых газет, частушки, стихотворные пародии, всевозможные раешники он пишет с огромным увлечением, с такой же серьезностью и ответственностью, как и все другое.

«Уральская весна» в творчестве Чекмарева занимает особое место по обилию новых тем, количеству созданных произведений, по огромному взлету вдохновения.

* * *

Пятнадцатое марта 1932 года — знаменательная дата в жизни Сергея Чекмарева: это день окончания института, день выхода в большую жизнь. Ему был предоставлен выбор: работа в городе в тресте или совхоз. Он выбирает совхоз в Башкирии, где в те годы были самые трудные условия работы. Москвич, не пропускавший ни одного литературного вечера, ни одной поэтической дискуссии, едет навсегда «в глушь, в полудикие места», отрываясь от всего, что дорого его сердцу, к чему привык, с чем сроднилась душа. Самое трудное — разлука с Тоней. Но чувство долга сильнее всего:

Я буду там, где должен быть,
Куда поставит класс,
Но мне нигде не позабыть
Сиянья серых глаз.

В этих идущих от сердца строках и мужество, и горе, и комсомольский пыл, и мальчишеское отчаяние. Сказать так много и так выразительно в одном четверостишии мог только настоящий поэт.

«В далекую Башкирию». Письма с дороги наполнены любовью к Тоне. Вместе с тем Сергей уже захвачен мыслями о предстоящей работе.

Не надо сердиться, ветер!
Ты знаешь, что мир велик —
Не только Москва на свете,
Существует и Таналык.
Ну что же... и здесь неплохо
По жилам струится труд.
И если велит эпоха,
Я буду работать тут.

Условия в башкирском совхозе, где работал Сергей Чекмарев, оказываются очень сложными. Жизнь предстает перед ним свои-

ми суровыми сторонами и как бы проверяет его выдержку, искренность его призывов к борьбе, способность противостоять трудностям черновой работы. Сергей с честью выходит из этих испытаний.

«Работаю сейчас старшим зоотехником совхоза, заместителем директора по животноводству. Работа мне нравится. Глупы были люди, которые жалели меня в Москве. Вот, дескать, человек окончил вуз, получил высшее образование и, пожалуйста,— едет в глушь, в деревню, в степь, в полудикие места, да еще на постоянную работу.

Что же, вот я в глуши, в степи, на постоянной работе — и очень доволен. Почему?.. Работать здесь — это значит носиться верхом на лошади, организовывать работу в гуртах, управлять совхозом. Это трудно. Но лучше трудно, чем нудно,— так я считаю».

Лучше трудно, чем нудно! И вот в дождь, в ливень, в буран, в темноте, в тумане, в грязи, согревая дыханием замерзшие пальцы, прикрывая глаза от режущего ветра, Чекмарев скачет от фермы к ферме, от бригады к бригаде. Его огорчают собственные ошибки, сказывается отсутствие практики, опыта. Но это не останавливает его. «Я овладею работой, я верю в себя и до тех пор буду работать в совхозе, пока не овладею»,— говорит он в письме к родным.

В ответ на предложение Тони «вырваться в Москву» он пишет: «Куда я вырвусь, зачем я вырвусь? Что я буду делать в Москве... Нет, я не приеду, и не может этого быть».

Искренняя и страстная увлеченность любимым делом поддерживает в нем бодрый дух даже в самые тяжелые для него моменты. А таких моментов немало. Никак не удается наладить семейную жизнь. Тоня то приезжает к нему в Башкирию, то уезжает, и каждый ее отъезд приносит Сергею тоску, одиночество.

Однако и здесь он остается победителем. Ощущение радости жизни, восторженное поэтическое отношение к ней выливаются в искрящиеся юношеской свежестью и бодростью строки.

Пушистый снег,
Пушистый снег,
Пушистый снег валится,
Несутся сани, как во сне,
И все в глазах двоится.
Вот сосенки,
Вот сосенки,
Вот сосенки направо,
А ты грустишь о Тосеньке,
Какой чудак ты, право!..
На сердце снег,
На сердце снег,
На сердце снег садится.
Храни в груди веселый смех,
Он в жизни пригодится!

Выполнение простого и нужного людям дела усилило в нем чувство любви к жизни, принесло глубокую удовлетворенность от участия в ней.

Конечно, и до Сергея Чекмарева люди ощущали полноту жизни и выражали ее. Но ему удалось раскрыть это чувство так, что оно становится понятным и близким другим.

Скажи мне, неужели ты
        со скукой смотришь на небо,
И жизнь тебя измучила
        и кажется сера?
И как в реку бросаются,
        не глядя, хоть куда-нибудь,
Бежать тебе хотелось бы
        из этого села?
А мне минуты кажутся
        чудесными и гордыми,
По книгам буквы ползают,
        беснуется метель,
И лошади проносятся
        с опущенными мордами,
И избы озаряются
        улыбками детей.
По «точкам» путешествовать,
        не брезговать помоями,
С директорами ссориться,
        с кобылами дружить —
Не знаю, как по-твоему,
                но, Тонечка, по-моему,
Все это, вместе взятое,
                и означает — жить.

Верный своей давнишней страсти, он издает в Башкирии рукописный журнал «Буран», сохранивший на своих пожелтевших от времени страницах лучшие стихотворения Сергея Чекмарева. Как много говорят нам эти журналы и как мы должны быть обязаны этой его благородной страсти!

Стихи и очерки башкирского периода — наиболее зрелые произведения в литературном наследии Чекмарева. Они наполнены его высокой и мужественной любовью к Тоне и вместе с тем проникнуты чувством долга перед Родиной. Их можно с полным правом отнести к лучшим образцам советской гражданской лирики.

Сергей полюбил эти края. «Мы в шубе из мохнатых гор и в теплой лесной фуфайке» — так образно описывает он природу Ибряевского совхоза. Здесь у него появились друзья — верные, неизменные: солнце, снег, башкирские горы с их причудливыми очертаниями и редкой красотой, его постоянный спутник «Маруська» или «Гнедой», «с такой вот теплой кожею и гривою коня, с такой вот хитрой рожею, глядящей на меня». Он подружился даже с «косматой» метелью и «голубушкой» вьюгой и находит для них теплые слова.

Среди снежинок шелковых,
                в нагроможденье скал,
Я только здесь нашел себе,
                чего всю жизнь искал.

И это не преувеличение — эти проникновенные стихи убеждают нас так же глубоко и навечно, как убеждает вся его трепетная и бескорыстная любовь к жизни.

И когда внезапно возникает возможность покинуть Башкирию и вернуться в Москву, Сергей поступает так, как подсказывает ему его душа патриота. Соблазн был очень велик. С одной стороны — родной город, с лучшими в мире театрами, музеями, библиотеками, литературной средой, где «измы лезут на измы», с таинственными «залами с экранами», с другой — свирепые бураны, черновая, незаметная работа, повседневная борьба за каждого теленка, за каждый клок сена, грубость, невежество... Частая смена директоров создавала благоприятные условия для того, чтобы все их ошибки приписывать «ученому» зоотехнику.

Борьба была недолгой. Она завершилась победой всего лучшего, что составляло его внутренний мир. С большой выразительной силой она раскрыта в стихотворении «Размышления на станции «Карталы».

Я знаю: я нужен степи до зарезу,
Здесь идут пятилетки года,
И если в поезд сейчас я влезу,
Что же со степью будет тогда?

Но нет, пожалуй, это неверно,
Я, пожалуй, немного лгу —
Она без меня проживет, наверно,
Это я без нее не могу.

У меня никогда не хватит духу,
Ни сердце, ни совесть мне не велят
Покинуть степь, гурты, Гнедуху
И голубые глаза телят.

Это решение можно с полным правом назвать подвигом, и не только потому, что оно оказалось для него роковым. Через несколько месяцев Сергея Чекмарева не стало.

Одиннадцатого мая 1933 года по дороге на дальнюю ферму совхоза телега, на которой он переезжал реку, оказалась перевернутой, а сам Сергей Чекмарев был вытащен из реки мертвым. Погиб ли он от вражеской руки или разбился о повозку — осталось тайной, раскрыть которую до сих пор не удалось.

Сам того не подозревая, он нарисовал картину своей гибели в стихотворении «Где я? Что со мной?»:

Ты думаешь: «Письма
В реке утонули,
А наше суровое
Время не терпит.
Его погубили
Кулацкие пули,
Его засосали
Уральские степи.
И снова молчанье
Под белою крышей...
Лишь кони проносятся
Ночью безвестной.

И что закричал он —
Никто не услышал,
И где похоронен он —
Неизвестно...»

Нельзя без скорби читать эти удивительные стихи, в которых с такой остротой передано ощущение времени, предчувствие трагического конца.

Оборвалась жизнь, полная поэзии и мужества, ясная и сильная, как наступающее утро, оборвалась на полуслове последняя недописанная строка.

Погиб поэт в самом начале своего расцвета. Ушла от нас жизнь неповторимая, цельная, вдохновенная. Но вместе со скорбью мы полны чувством гордости за советского человека, за нашего современника.

Шагавший в одном строю с энтузиастами первой пятилетки, Сергей Чекмарев стал дорогим и близким героям наших дней. И тем, кто поднимал целину, кто строит Байкало-Амурскую магистраль, кто совершает полеты в космос. Его с полным правом можно считать нашим современником.

Товарищи!
Дни пятилетки идут.
Октябрьские
дуют ветры!

И реяли над ним те же озаренные Октябрьским пламенем ветры, что реют и сейчас над нами, призывая к свершению великой мечты, за которую боролся и отдал свою жизнь замечательный советский юноша Сергей Чекмарев.

* * *

Горная Башкирия в пору цветения — сказочный по красоте край. Природа не поскупилась на формы и краски и щедро одарила его. Но есть здесь особая достопримечательность — на небольшом расстоянии один от другого высоко в горах возвышаются четыре памятника. На каждом из них одно и то же имя — Сергей Чекмарев. Башкирия чтит память московского комсомольца. Сюда, к этим памятникам, приходят выпускники школ и училищ, молодожены в день свадьбы, здесь вручают комсомольские значки, посвящают в пионеры. Имя Сергея Чекмарева присвоено улицам, Дворцу пионеров, школам, комсомольским организациям.

Но лучшим памятником для всех грядущих поколений является творчество безвременно погибшего поэта, протянувшее к нам сквозь десятилетия свой чистый немеркнущий свет.

С. Ильичева

Перед экзаменами

* * *

Дорогие беззубовцы!

Еще немного, и я, право, начну вам завидовать.

В самом деле, посудите сами, разве можно хорошо чувствовать себя в таком месте, где воздух — в аптечных дозах, автобус — едет (а что ему больше делать?), но и пылит при этом, а дым от котлов, в которых варят асфальт, укутывает дома черными майками? И разве может такое место сравниться с вашим идиллическим Беззубовом, где загар — слонистый, как навоз, где за сеном ухаживают, как за сыном, а минута считается бесконечно малой величиной? Где по полям ходят шустрые и ловкие беззубовцы, остроумные беззубовцы, краса и гордость всей Косяевской волости.

Недаром говорит пословица: молодец против овец, а против беззубовца и сам овца!

Я должен сообщить вам о своих делах с вузом. Заявление я подал в МВТУ на механический факультет. Конкурсных мест там очень много — целых девять, а заявлений пока подано «пустяки» — 295.

Письма ваши получил. Простите, что только сейчас собрался ответить. Прошу вас, не давайте слишком хлопотливых поручений, как, например: «Передай привет папе и остальным москвичам». Ведь остальных москвичей не два-три человека, а около двух миллионов.

* * *

Здравствуй, бабушка и Нина,
Здравствуй, Лида * и «Бутон»!
И «Милушка», друг старинный,
И с котятами корзина,
И хрю-хрюшке мой поклон!

* Нина и Лида — сестры Сергея Чекмарева.

Жить в Москве не очень сладко —
Тут и пыль и духота,
И с погодой непорядки,
И проклятые тетрадки,
И весна совсем не та.

Серый дождь в окно мигает,
Вьется скучный дым из труб,
Скука, сон одолевает,
И ничто не помогает —
Книга валится из рук.

Утром день такой же гадкий,
Облака черны, как ад,
Соберешь свои манатки
И несешься без оглядки
На центральный книжный склад.

Книги, счеты, подотчеты,
Буквы, цифры и значки...
После трех часов работы
Уж в мозгах перевороты
И не пальцы, а крючки.

Вечера еще печальней,
Скучно, тесно, утомлен,
И, плетясь дорогой дальней
В перегретую читальню,
Вспомнишь: как-то там «Бутон»?

Если ж день случится жаркий,
Жарко, значит, горячо.
Солнце топит, как кухарка,
И кладет, кладет припарки
На затылок, на плечо.

Денег нет ходить в кино нам.
Да к тому же много дел,
Даже (что пишу со стоном)
В «Арсе» с Бестером Китоном
«Три эпохи» не смотрел.

Вот вам новости все вкратце.
Толя в Крым уж взял билет.
Привелось мне любоваться

На такое счастье братца,
Приведется вам иль нет?

Напишите мне в ответе
Про свое житье-бытье,
Что вы делаете летом,
Да про то, про се, про это.
До свиданья,
Чекмарев.

* * *

Сейчас день, солнце, жара, ветра нет, деревья от этого кажутся зеленее, но лнца чернее. Прн такой температуре часы в жилетном кармане легко могут расплавиться и потечь ручейкамн по пнджаку. Москва любит иногда попотеть, но зато любит потом с разбегу встать под душ и плескаться в ледяной воде. Дождик — самое мое любимое удовольствие; хорошо в это время лежать на окне н смотреть на улнцу, особенно если ветер. Воздух чистый, брызги попадают на лицо, дома распускают серебряные косички, крыши краснеют, а внизу бегут ручьи и люди.

Получили ли мою фотокарточку? Не правда ли, я выгляжу лучше, чем в прошлом году? Так как я за это время не изменнлся, то предполагаю, что фотография делает успехи.

Если так пойдет и дальше, то через двадцать лет самый некрасивый человек будет выглядеть на снимке, как Мери Пикфорд.

* * *

Письма ваши получил пополам с творогом. Если бы я их ел, они мне понравились бы больше, но я их только читаю. В следующий раз, когда будете с кем-лнбо посылать письма, кладите их поудобнее. Я пока живу весело — беспрерывно пншу н чнтаю учебники по физнке н математике. С прнезда я напнсал 280 страниц — это несмотря на то, что в это же время я носился с документами н заявлениями. Убавился в весе я пока на

один фуит. Это, вероятио, тот фунт, который я исписал (полагаю, что 280 страииц весят никак не меиьше фуита).

Перед экзаменами

На иомер девятый
сзади сядь
И, глядя вокруг
рассеяиио,
Умчи километров
за десять,
Заблудись в сииеве
и зелеии.
И, следя
за взлетевшей галкой,
Под ветвями стоишь,
как замер.
Только колется мысль
иголкою:
Пятиадцатого экзамеи.
И, любуясь стаей ловкою,
Коивоируешь птиц
глазами.
Только колется мысль
булавкою:
Пятиадцатого экзамеи.
Вечереет...
Ехидиый кто-иибудь
Паутииу
развесит по иебу.
Скоро звезды
с жалобой тихою
В паутиие забьются,
путаясь,
И луиа поползет
паучихою,
Огромная и глупая.

* * *

Что же это вы, дорогие товарищи! Пишут — скучио, делать иечего, а сами ие могли иаписать письма. Позабыли, что в Москве остался «малеиький» братишка, да?

Погода у нас стоит очень хорошая, по сравнению с той, которая на Северном полюсе. Дождик ходит довольно регулярно, каждый день в обеденное время. «Скучать» мне здесь некогда, потому что дел по локти и я постоянно занят. Сейчас занимаюсь исключительно обществоведением и литературой. По литературе исписал уже 370 страниц, а исчитал (вероятно) 3700.

Видел картину «В большом городе». Вот глупая вещь! Из интересной темы сделана каша.

Прежде всего что за содержание? Некий талантливый, как говорится, юноша живет в провинции и пишет этакие забористые стишки («В город, в город, в город, в город! Широко распахнут ворот. Верст бы тыщу отмахал, мир стихами распахал»). Встретясь случайно с одним шарлатаном-писателем, он соглашается на его предложение ехать в Москву завоевывать славу. И действительно, слава к нему приходит, он становится известностью (поэт Граня Бессмертный).

Но тот же писатель втягивает его в богемный быт. Юноша пьянствует, кутит, наконец «теряет талант», и редакция отказывается его печатать. В противовес ему в фильме выводится его приятель, который тоже «гений» (изобретатель каких-то универсальных шкафов), тоже приехал в город за счастьем, но не ходит по кабакам, работает, добродетельно влюбляется в дочь своего начальника, никогда, по-видимому, не бреется и очень похож на гориллу.

Что можно вывести из такого фильма?

1) «Если ты человек талантливый, то не должен пьянствовать и сбиваться с дороги, ибо погубишь свой талант». Мысль, как видите, справедливая, но, увы, слишком подразумевающаяся сама собой, чтобы ее иллюстрировать еще кинофильмами.

2) «Если ты человек талантливый и хочешь распахивать мир стихами или универсальными шкафами, то не сиди в провинции, а поезжай в большой город». Эта мысль вытекает из фильма, может быть, независимо от воли постановщиков, но посудите сами: изобретатель едет в город и там делает себе карьеру, поэт едет в город и моментально становится известностью, правда, потом теряет ее, но сам виноват — не пей. Можно сделаться знаменитостью и потом пьянствовать в меру. «Так я и сделаю»,— скажет какой-нибудь провинци-

альный поэт, покупая себе билет Зарайск — Москва.

В чем основная ошибка этого фильма? В том, что он основным злом писательской богемы считает то, что богема эта губит таланты, а не то, что она губит простых, средних людей, которые должны бы работать. Средние (а тем более плохие) стихи писать нетрудно, и многие, кому далось это умение, воображают, что они должны сделаться поэтами. Они отрываются от производства, идут в богему (они-то ее и составляют) и стремятся сделаться писателями-профессионалами, между тем как, в сущности, не способны к этому. Кто-то верно определил богему как сборище непишущих писателей, нерисующих художников и т. д.

Разговоры с классиками

Сколько имен!
      Сколько книг!
Плавают томики рыбами.
Что в нем?
      Что в них?
Какой
      лучше
            выбрать?
Что взять?
С чего начать?
Нерешительно щурю глазки.
Легко скользя,
проходят по ночам
заслуженные классики.
Дрожу:
      почему они
            смотрят так грозно?
К чему такие видения?
Они защищают
      классической прозой
свои произведения.
Твердо стоя,
хотя и сто лет,
учтивый,
      простой,
говорит Толстой:

— Чтоб мир дворянский
стал вам мил,
возьмите книгу
«Война и мир».
И веско-резкий
встает Достоевский:
— Совершенно необходимо
к экзаменам
«Преступление
и наказание».
И затем
затейливо-фразова
речь Некрасова:
— Я за Федора рад, но вам,
чтобы экзамены
все сдать,
не лучше ли взять
«Размышления
у подъезда
парадного».
Но вот, вступая
в тур гениев,
слово берет Тургенев:
— Чтобы экзамен
был вам не труден,
прочтите роман,
называемый «Рудин».
И чрезвычайно жестко,
и точно как миля,
говорит кто-то
с длинной фамилией:
— Чтобы вам после
не пришлось тужить
и на экзамене сердце
не обмирало,
возьмите
«Повесть о том,
как мужик
прокормил двух генералов».
А Безыменский
в фуфайке вязаной
старается
выглядеть развязно:

— Все мы классики
        бенее или молее.
Дерганите
        «Комсомолию»!
Чтобы выглядеть
        торжественней,
он себя
        окружает жестами.
Протянулись
        эти жесты
от кровати
        до этажерки.
И один из них,
        не знаю как,
восемь книг
        уронил впопыхах.
И этот жест,
        загремев, как жесть,
сон спугнул,
        который уселся.
И классиков нет...
        А книги есть.
И еще
        голова
                и сердце.

* * *

Беззубые миловцы!

Если я не писал вам писем — а я действительно их не писал,— то только потому, что не было времени. Но теперь экзамены кончены, последний черновик скомкан и последняя книга захлопнута. Время опять расцветает, и карандаши обрастают почками. Двадцатая буква русского алфавита украшает мои экзаменационные ведомости. Что же касается собственно приема, то я на него не надеюсь. Бедный Макар,— я попадаю всегда в тот вуз, в котором теснее всего.

Наверно, вы жалеете, что я живу в душном городе. Вы думаете, что если я вижу дерево, то не надо далеко идти, чтобы попасть под автомобиль. Однако это не так. Каждое утро трамвай № 12 возит меня по зелени, осторожно держась за проволоку. Кругом зреют овес и кле-

вер. Ходят коровы и щиплют траву. Рожь тут не вся еще скошена.

Бываю я также в Парке культуры. Не говоря уже о волейболе и купальне, там есть такие вещи, как бесплатные души, комнаты для викторины, психологический кабинет, читальня на крыше и тому равное и тому подобное.

Был я и в психокабинете. Оказывается, что у меня самое хорошее — это память. Сообразительность выше среднего, а что касается фантазии, то ее, увы, почти нет. Впрочем, под фантазией здесь понимается способность рассматривать в необычном пятне разные обычные вещи. Так же условны и другие испытания. Бесспорно, что существует столько видов памяти, сообразительности и фантазии, сколько есть видов умственной деятельности.

Товарищи, вы мало мне пишете. Мне приходится самому придумывать сведения о вашей жизни.

Вот они: вы живете пока ничего, все живы, здоровы. Погода стоит хорошая, но в пятницу шел дождик. Волейбол не устраивали, «все как-то некогда». Занятия также не идут — «все как-то не хочется». Надо бы к четвергу написать письмо брату, но «что-то не пишется».

Правда, ведь так?

Американский боевик

Быстрее
      афиши
            на стены лепи —
Сегодня
      город в угаре:
Картина
С участием
      Гарри Пиль.
Гарри!
      Гарри!
            Гарри!
У кинотеатров
      растут хвосты —
Не кинотеатры,
      а звери.

Как хищные зевы,
как жадиые рты,
Хрипят
огиезубые двери.
Толпа
как стеиа.
Цеиа за билет
ие дорога ли?
Зато на экраие
покажется иам
Сам
замечательиый Гарри.
На экраие хлещет
кровь из веи.
Героиия в слезах,
лошади в мыле,
От этой сырости
в голове
Разводятся
страиные мысли.
Вот рядом
иа стуле № 6,
На дикие гоики
любуясь,
Сидит малыш,
и в его душе,
Наверио,
бушует буря.
Представим дальше:
положим, сели вы,
А малыш рядом
взгляды шлет:
«Хорошо бы, как сыщик
из второй серии,
Быстро, бесшумио
стащить кошелек!»
Или представим
другой кадр:
Гаврикова улица иочью,
И из тьмы
По темени чья-то рука,
Мускулистая очень.
Известио —

у девочек другие привычки
И мысли
тоже другие.
Они в темноте
мечтают выйти
Замуж за Гарри Пиля.
Чтобы выглядеть, как героини кино,
Побросав иголки и ножницы,
По вечерам
выползают из нор
«Заслуженные» киношницы.
Если бой
в переулке гремит,
Если мальчик —
и уже бандит,
Если у девочек
шикарный вид,
Это —
американский
боевик!
Выводы:
чтобы сделать кино
хорошее,
Избавить
мозги от туманной гари,
Давайте с экрана
прогоним в шею
«Замечательного»
Гарри!

Гениальный человек

Рассказ

Восемь лет я был знаком с моим сослуживцем Мушкиным Семеном Никифоровичем и даже не подозревал, что имею дело с необычным человеком. Восемь лет я с ним здоровался за руку, угощал «Боксом», давал пятерку до пятницы и ни разу не догадался, что передо мной не простой смертный. Открылось это совершенно случайно.

Однажды, во вторник, я был у Мушкина. В этот день мы сговорились поехать на дачу к общему нашему

знакомому Шляннну, помощнику начальиика станцни, и потому не явнлнсь иа службу. Поезд должен был отойти через час, но Мушкин еще одевался и прнхорашивался. В ожнданин прнятеля я перелнстывал прошловековый, кажется, журиал «Север». Накоиец Мушкин появнлся. Скрнпя иовыми башмакамн, он останознлся на пороге комиаты.

— Ну, пойдем,— сказал ои.— Кстатн, по дороге я зайду в магазии. Соседка говорила, что у иас в госмолоке дают масло.

— Если ты хочешь достать масло,— иасмешлнво отозвался я,— то тебе придется ехать вечерннм поездом.

Мушкин загадочио улыбиулся:

— Пойдем.

Мы вышлн. Белый сиег запушил шубы. Мушкнн скрнпел башмаками. Не доходя километра до магазина, мы уже заметили очередь. По моему глубокому убеждеиию, в ией иадо было простоять часа два. Мушкнн спокойно н как-то равиодушно шел мимо очереди и, только подойдя к ее иачалу, стал пристальио вглядываться в лнца.

«Ага, у иего заията очередь»,— догадался я.

Наконец Мушкии остаиовил свой выбор иа бесцветиом молодом человеке с длиниыми иогамн и бледиым лицом.

— Не помию, я впередн вас стоял или позади? — обратился ои к иему виезапно строгим и резким голосом.

— Я... что... ч... кажется, позади,— смущаясь, ответнл молодой человек. Цвет лица у иего стал красиый.

— А ие впереди?

— Я... как... я... Может быть, и впереди.

— Нет, теперь я вспомииаю: действительио позадн. Благодарю вас! Что же мы так медлеиио подвигаемся? — И Мушкнн спокойио заиял место в очередн.

— Да, очеиь медлеино,— подхватнл молодой человек, как будто даже обрадоваиио. Цвет лнца у иего опять стал бледный.

Через 20 мниут Мушкни получил масло.

— Здорово! — сказал я, когда ои подошел ко мие. Я уже догадался, в чем дело.

Мушкнн скромно вздохнул.

— Ты так всегда получаешь без очереди?

— Ну, что ты! Разве можно все время по-одинаковому? Смотря какие люди.

— Как же еще? — спросил я с интересом.

И Мушкин начал раскрывать передо мной свои «методы».

— Иногда,— начал он,— если видишь,— стоит какая-нибудь женщина,— ну не женщина, а домашняя хозяйка, так возьмешь положишь на снег двугривенный, а потом подойдешь и скажешь: «Гражданка, вы деньги уронили?» Она сейчас же: «Ах!» — поднимет и в сумочку. После этого или прямо попросишь — можно сзади встать? Или, даже не спрашивая, встанешь в очередь. И вскоре масло уже в кармане. Конечно, с двугривенным приходится распроститься, ну да ведь на рынке больше переплатишь. А если в очереди стоит какой-нибудь знакомый...

— Ну, тогда дело просто, становись впереди. Это и я, брат, сумею.

— Вовсе нет. Это можно, если хороший знакомый, а если так, шапочный, то и неудобно. Да, позволь — а очередь? Сзади и впереди тоже не дураки стоят, всякого не пустят. Нет, а я вот как. Я говорю: «Иван Петрович! Вы еще стоите? А я уже!» И хлопаю себя по карману. Слово за слово, разговариваю и подвигаюсь вместе с ним. И кругом ничего. Как до кассы дошел, так в момент деньги из кармана, и готово. А то так же можно пристроиться и к незнакомому. Выберешь человека поинтеллигентнее и подходишь к нему, будто с ним сейчас тут стоял в очереди, да отлучился на минутку. «Нет,— скажешь,— в том магазине масла не дают, правильно вы говорили. Почему это, как вы думаете, масла не хватает?» Так поворачиваешь, что ему совсем невозможно сказать: «Вы тут не стояли».

А если вечером у меня есть свободное время, то пойду попозже и наклею на магазин бумажку: «Сегодня масла не будет. Масло привезут завтра в 10 часов». Утром приду к открытию и получу без всякой очереди. Раз только две старухи стояли: безграмотные, оказывается. А то так: пройдусь по очереди: граждане, разменяйте червонец! Конечно, охотников не окажется. Тогда подхожу постепенно к кассе и сую червонец — получите столько-то, будто разменять только. И сзади

ничего. Получу масло, ну и сырок там еще (нельзя же платить только за масло). А то еще и так: притворюсь, будто...

Я слушал с захватывающим интересом, ничего не видя и не слыша вокруг. Кажется, я наступил кому-то на ногу. К сожалению, в этот момент мы подошли уже к кассе вокзала и засуетились с отъездом. В вагоне было тесно, и мы оба молчали. У Шляпиных также молчали, то есть об очередях молчали, но вообще-то разговаривали, и очень даже много. Но на обратном пути я попробовал возобновить разговор.

— Ты меня заинтересовал своими методами. Какие же ты еще штучки проделывал в очередях?

Но Мушкин только хмуро посмотрел на меня и ничего не ответил. Видимо, он сожалел о своей внезапно нахлынувшей откровенности.

Ни завтра, ни после мне не удалось больше выманить у него ни одного слова об очередях. Рассердился ли он на меня за что-нибудь, понял ли, что такая откровенность и вообще широкое распространение его системы невыгодно для него, но только каждый раз, как я с ним об этом заговаривал, он ничего больше не рассказывал. Но мне, однако, пришлось один раз увидеть его «на практике». Это было в Госбанке. Я пришел заложить свои облигации займа индустриализации. А рядом со мною стояла полнометражная очередь плательщиков по социальному страхованию. С другой стороны стоял стол, за которым операций не производилось. Банк только еще переезжал в это помещение.

Вдруг к очереди подошел Мушкин, с красной книжкой соцстраха в руках. Чтобы не быть узнанным, я поднял повыше воротник и с любопытством стал наблюдать. Смерив взглядом очередь, Мушкин поморщился. Затем принял обычный свой солидный вид и строго спросил:

— Вы за чем стоите?

— За социальным страхованием,— ответило ему больше десятка недружных голосов.

— Мужчин или женщин?

В очереди молчали.

— Мужчины или женщины у вас застрахованы? — строго повторил Мушкин.

— Женщнны,— робко ответила какая-то домашняя хозяйка, закутанная в огромный пуховый платок.

— Еслн женщнны, то вам, гражданка, не сюда. Здесь страхованне мужчин. Вот вам — рядом, прнем с двенадцатн.

Домашняя хозяйка колебалась. Но несколько человек нз очередн быстро перешли на другую сторону. Домашняя хозяйка заторопнлась н поспешнла туда же. Вслед за нею хлынула и вся очередь. Осталось только иесколько мужчин, к которым прнсоеднннлся н Мушкнн.

В одинадцать часов начался прием, а через 20 мннут Мушкин уже выходнл нз Госбанка с красной кннжкой в руках. Очередь стояла. Я завнстлнво вздохнул. Геинальный человек!

Для памяти

Вероятно, многнх
позабуду еще —
Разбросаю память
по годам.
Второпях шагая
в позабудущее,
Время быстро мчнтся,
как всегда.
И звереныш — злоба, ухватнв
раз пять,
Распушит помягче
лапкн цепкне,—
Вместо электрнческих распятнй
Смутно встаиет:
«Сакко н Ванцеттн...»
Чтобы эту боль
ие забыть второпях,
Не простнть озверелой банде,
Я хочу на своих
полотняных стнхах
Завязать узелок
для памяти.
Чтоб тяжелым укором:
«Как же вы?!»
Чтоб прнмером,

душу обжигающим,
Чтобы встали оба,
как живые,
Как живые,
но
умирающие...
За то, что коммунисты,
за то, что организаторы,
Что сердца тверды,
что слова колючи,
За то, что, может быть,
послезавтра
Участвовали бы в революции!
За все за это
под нелепым предлогом
Конвой... Штыки...
арестуют...
тащат...
В самом деле:
разве долго
Буржуазии убрать
мешающих?
Современная фурия —
губернатор Фуллер
Приказом на город
ружья выпулил.
Город окружают войска,
полиция...
Не позабудется ли?
Отомстится ли?
Под ветром жестоким,
в грядущее дующим,
Газетный листок,
трепыхайся пуще!
Ток пущен!
Вы что, ополоумели?
В сердцах возмущение,
горечь
обиды:
«Еще вот
двое
невинных
умерли,

Нет, ие умерлн:
    УБИТЫ!»
После чериых туч
    н бури жестокн.
Как ие подумали они хотя бы
    о том,
Что сажать
    народиых вождей
        за решеткн,
Все равио
    что черпать воду
        решетом!
. . . .
Обмякнет, однако,
    капитализм-неврастеннк.
Хоть н чугуиные мускулы,
    но погляди:
Имеются приметы
    и печать вырождення
На его бронироваииой груди.

Дикий случай

Фантастический рассказ

Счетовод Всекопромсоюза, граждании Пугачев, остаиовился у моссельпромовского лотка, чтобы купить пачку папирос. Когда он выинмал из кошелька, набнтого бумажками, серебряную моиетку, сзади него послышался выразительный шепот:

— Васька! Следи за этим, видишь — деиег сколько.

Пугачев обериулся и обмер: стояли два оборванца н глядели прямо иа иего. Одии был в шапке, другой же без шапкн. Невольно отведя взгляд, Пугачев неловко суиул кошелек в карман и, умеряя страх, хлыиувшнй виезапио, как пролитые черинла, зашагал по Краснопрудиой. Но шаги против воли стаиовнлнсь чаще и чаще, а сердце стало стучать так громко, что его стало слышио сквозь меховую шубу.

Пройдя домов с десяток, Пугачев огляиулся. «Без шапки» шел за ним. Пугачев ясно рассмотрел его полушубок, покрасиевшее лицо. Сердце граждаиина Пуга-

чева сразу упало в страшную бездну и продолжало лететь, а стука его не стало слышно из-за заполнившего все кровяного шума в ушах. В голове закружились различные мысли: и воспоминание о растрепанной книжке «Защита и нападение», и сожаление о том, что он взял с собой золотые часы. С тоской он оглянулся — «без шапки» все шел. «Господи, богородица! Что же это такое? — подумал Пугачев.— На трамвае разве поехать?» Эта мысль придала ему бодрости. Поминутно ощупывая кошелек, он подошел к трамвайной остановке и встал на платформе. «Без шапки» встал неподалеку. Пугачеву было странно, что пассажиры кругом не обращали внимания на этого человека, и он неприязненно посматривал на заиндевевшее лицо и валеные сапоги оборванца. Но на людях страх утих, и Пугачев твердо решил избавиться от своего преследователя.

Подошел трамвай, набитый до отказа. Пугачев расхаживал по платформе с таким видом, будто 10-й номер его нисколько не интересует. И только когда вагон дернулся, он с неожиданной быстротой бросился к дверце и схватился за поручень. Каким-то чудом он протиснулся в вагон, и там, сдавленный, как под пресс-папье, примятый и беспомощный, он был в восхищении от своей ловкости и безопасности. Но, повернув голову, чтобы отыскать взглядом кондуктора, Пугачев застыл в ужасе: преследователь стоял рядом с ним.

Следующим же движением Пугачева было схватиться за кошелек. «Слава богу, цел!» Достав его и отсчитывая медячки, Пугачев снова взглянул на вора и дрогнул от радости: у вора не хватало денег на трамвай. Пугачев ясно видел медячки на его ладони: три копейки, две и две. Он живо сообразил, что это составляет семь копеек, а не восемь.

— Получите четырнадцать копеек,— торжествующе обратился он к кондуктору, искоса следя за вором.

Теперь он опять его не боялся. Но вор не смутился. Небрежно ссыпав медяки в карман, он преспокойно продолжал оставаться в вагоне.

— Кто не брал билетов, граждане? — провозгласил кондуктор, занятый на другом конце вагона.

Оборванец не гугукнул. У Пугачева опять заныло в груди. «Как бы это его обличить? — мучительно думал он.— Разве подойти да шепнуть кондуктору? Нет,

неудобно. Скажут: «Вам какое дело?» Как какое? Ведь государство же страдает! Взять н сказать: «Как созиательный граждаиии СССР и член профсоюза, не могу допустить, чтобы разные проходимцы кралн у государства восемь, а то и однниадцать копеек». Нет, опять иеудобно. Был бы еще партнйиый, а то нет. Да и «без шапки» рядом. Ему тоже это ие поиравится. Разозлится хуже еще. Всадит финку в спииу — н конец». Вор опять показался Пугачеву темным и страшным человеком. Ои гляиул в нией окиа. Уже проехали Гаврнкову улицу. «Надо слезать,— подумал Пугачев,— заедешь еще к черту на куличкн. Хуже влнпиешь».

Ставя ногу иа землю, ои опять на секунду обрадовался. «Без шапки», виднмо, колебался — слезать ему илн иет. Но колебаиня былн иедолги — вор спрыгнул. «Господи, богородица, что за днкая нстория!» — терзался Пугачев и зашагал сквозь темиоту по иаправлению к Гавриковой улице. Чем быстрее он шел, тем меньше ои разбирался в этой нсторин, мучительиой, как неразборчнвый почерк.

На углу Гаврнковой улицы стоял мнлицнонер. Волнуясь, граждании Пугачев решнл подойти к иему, чтобы попросить защиты. Но, подходя, он почувствовал робость. «Как я могу, в сущности, доказать, что ои хочет меия ограбить, н что может сделать постовой? — начал он сомневаться.— А вдруг ему покажется подозрительиым мой страх. Поведет в милнцню, а там иачиут расспрашивать: «Откуда у вас такие деньги?» А что ои ответит? Не может же он сказать, что удачно реализовал иесколько припрятаиных золотых десяток.

Пугачев в иедавием прошлом ие был скромным счетоводом, в качестве главиого бухгалтера ои воротил большими делами у своего бывшего хозяиеа, крупного фабрикаита. И кое-что сумел скопить «на черный деиь». Все это вихрем проиеслось в голове Пугачева, и его зазиобило. Между тем милнциоиер остаиовил уже на ием взгляд.

— Как пройти иа Лесиорядскую улицу? — спроснл Пугачев дрожащим голосом.

— Первая налево,— ответнл милиционер н отвернулся.

Но Пугачев медлнл уходить.

«Спаси... те»,— хотел он сказать, но язык вместо этого выговорил: «Спасибо». Снова зашагал он в темноте. «Без шапки» пошел за ним. Прохожие были так же редки, как фонари, а фонарей не было совсем. Сзади раздавались шаги вора, а внутри стучало сердце.

Пугачев перевел дух только когда позвонил у квартиры знакомой женщины. Это было в 20 минут шестого. А в половине восьмого он снова спускался по лестнице и снова ощущал ужас при мысли, что вор, может быть, дожидается его. Не решаясь выйти из подъезда, он осторожно взглянул в стекло двери. Так и есть! У ворот напротив торчала какая-то фигура. Страх сдавил Пугачеву грудь с удвоенной силой, он решительно не мог заставить себя выйти в переулок и стоял, волнуясь, в подъезде.

Наконец ему пришла в голову мысль взять извозчика. Преодолевая страх, он просунулся в двери и закричал дрожащим голосом:

— Извозчик!

Через минуту по мостовой послышалось характерное цоканье копыт. Пугачев вышел на тротуар.

— В Пушкарев переулок,— сказал он.

— Десять рублей,— отвечал извозчик, запрашивая впятеро. Пугачев не имел сил торговаться. Пролетка понеслась, но страх его не уменьшился.

«Подозрительно, что в таком глухом месте вдруг оказался извозчик,— холодея, размышлял он.— И как он быстро подъехал. Завезет еще куда-нибудь».

Извозчик вдруг поворотил в какой-то переулок.

— Эй, куда ты! — закричал не своим голосом Пугачев.

Извозчик придержал лошадь и повернул к седоку лицо, которое показалось тому бандитским.

— А что, ближе тут?

— Нет, нет! — закричал Пугачев.— Поезжайте по Краснопрудной.

Извозчик нехотя тронул лошадь. При въезде на Краснопрудную Пугачев немного успокоился: все-таки кругом были люди, а самое главное, что вора, этого кошмарного человека, уже не было. «Отстал»,— подумал Пугачев и успокоился.

Но около Сухаревской башни его охватило новое

опасение. «Заметит, негодяй, дом, обязательно заметит. Кто его знает, все-таки человек подозрительный».

— Извозчик! Слушай, извозчик,— обратился он к вознице.— Ссади меня здесь. Гм. Это я неверно давеча сказал, что живу в Пушкаревом переулке. А живу я здесь вот, на Мещанской. Вон, в сером доме,— неловко врал он.

Извозчик с видимым удовольствием получил свои десять рублей и отъехал. Шагая по знакомым местам, Пугачев все более и более успокаивался. Прошедшее начало ему казаться диким бредом, смешной чепухой. Уже совсем весело нажал он электрическую пуговку у своей квартиры, не торопясь раздеться, сбросил галоши, добродушно повесил шубу на такую знакомую, приятную вешалку и, радуясь, что с ним ничего не случилось, что он благополучно избег опасности, вошел в освещенную комнату.

— Что ты так поздно? — недовольно спросила жена.— Уже половина десятого.

— Не может быть! — ахнул Пугачев.— Я вышел, вышел я...

Он не договорил и полез в карман за часами, но остановился и растерянно посмотрел на жену. Часов не было.

Впечатления о прочитанном *

* * *

Читаешь книгу «Как работать писателю» и удивляешься: автор старательно объясняет, что слова можно употреблять не в прямом, а в переносном смысле, например: «Темный человек»; что можно сказать: «Я две тарелки съел», хотя едят не тарелки; что можно сказать фразу в виде вопроса, хотя никакого ответа на нее не ждут («Где ты, где ты, отчий дом?»), и т. д., и т. п. Но ведь всякий начинающий писатель, как бы плохо он ни писал, эту-то элементарность знает: и «Темный человек» он напишет, и «Я выпил два стакана» он напишет, и

* Отрывки из рецензий и литературного памфлета «О мамонтах».

«Где ты, моя молодость?». Так что подобные объяснения излишни. Писатель, прочитав эту книгу, напишет «Кудрявая березка» и горделиво подумает, что «кудрявая» — это эпитет. Что эпитет — это верно, но эпитет, литературно ничего не значащий. А как же сделать его литературно значащим, об этом в книге не говорится. «Чем больше эпитетов, тем лучше»,— говорит автор, но сейчас же оговаривается. «Но если подбирать их зря, без нужды и смысла, то от этого написанное станет только непонятней».

В таком плане написана и вся книга. Например, приведем полностью указания автора «как кончать рассказ».

«Окончания рассказа тоже бывают различные. Рассказав развязку, автор иногда высказывает в заключение какие-нибудь мысли, бросающие свет на отношение автора к изображенным событиям. Иногда автор, закончив рассказ, прибавляет к нему в сжатом виде изложение событий, имевших место через некоторое время после конца действия рассказа».

Прежде всего — понятно ли это будет начинающему (деревенскому) автору? Думается, что нет. Но если даже кто и поймет, что это ему даст? Как можно такие окончания искусственно применить к рассказу? Что получилось бы, например, если бы Чехов закончил рассказ «Мальчики» сообщением о том, что Чечевицын окончил школу и куда после этого поступил?

Что сказать о советах молодым поэтам? Собственно, ни советов, ни указаний нет, а есть только объяснения, что такое ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, цезура, стопа, строфа и т. д.

Хочется спросить: а что если написать стихотворение, например, правильным амфибрахием, с цезурой во второй стопе и богатыми мужскими и женскими рифмами — будет ли это хорошим стихотворением, или же для искусства нужно что-то еще? А если нужно что-то еще, то об этом и нужно говорить.

* * *

Наконец-то начало выходить полное собрание сочинений Хлебникова. Факт этот сам по себе положитель-

ный. Но некоторые критики стремятся, отвоевав себе Хлебникова (где же они были при жизни поэта?), ударить им по своим литературным неприятелям. Признав Хлебникова крупным поэтом и причислив его к лику классиков, эти критики начинают хлестать современных поэтов лучами его ореола.

Раскрываем первый том сочинений Хлебникова и читаем в предисловии:

«Маяковский пользуется результатами достижений Хлебникова (см. «Война в мышеловке»), не использовав его принципов. Он монополизирует лишь один из ритмических (и рифмических) приемов Хлебникова и возводит его в свой основной и однообразный принцип».

Ясна попытка представить Маяковского одним из незначительных эпигонов Хлебникова. Поэзия Маяковского чужда автору предисловия, и потому он не может допустить, что Маяковский и сам крупный поэт, а не вульгарный эпигон.

Казалось бы, что, располагая рукописями Хлебникова, автор мог полнее всех осветить связь Маяковского с Хлебниковым, о которой так многозначительно говорят. Однако он ограничивается вышеприведенными фразами. К сожалению, автор предисловия не одинок. В журнале «На литературном посту» мы находим следующие рассуждения:

«Поэты из Нового Лефа отказываются от задач, стоящих перед современной поэзией (что же это за задачи? — **С. Ч.**). Их прежние достижения в значительной мере предопределены были работами Хлебникова (ранний Асеев, многое у раннего Маяковского). Сейчас и Асеев и Маяковский начали бесконечно повторяться... Со времени выхода «Только нового» Маяковского и «Поэм» Асеева эти поэты не подошли ближе к современной жизни и застыли на прежних своих позициях».

Получается очень простая история: жил Хлебников, а Маяковский и Асеев, заимствуя его достижения, двигались понемножку вперед. Но вот Хлебников умер — и стоп! Маяковский и Асеев дальше не двигаются, застывают «на старых позициях». Здорово!

Но довольно! Тенденция этих «критических» мыслей ясна: лепить гипсовые бюсты Хлебникова и разби-

вать их о головы современных поэтов. Больше всех, конечно, попадает Маяковскому.

Это дурная тенденция!

Признавая гениальность Хлебникова, необходимо понять, что поэзия Маяковского обладает гораздо большей социальной значимостью, доступностью, простотой.

О мамонтах

Отрывки из литературного памфлета

Как-то в ненастный осенний день, когда тучи текли по небу, а ветер теребил уши, на розвале, «вместо рубля, за пять копеек», я нашел одну книгу под названием «Маяковский во весь рост». Я купил ее для своей коллекции печатных курьезов. И признаюсь, эта книжка доставила мне живейшее удовольствие. Я нашел в ней такую оригинальную глупость, такую непроходимую пошлость, такое девственное непонимание искусства, что книга по праву заняла первое место среди себе подобных. Мамонты еще не редки в наше время, но они тяжеловесны, любят ученые слова, они надевают на лицо внешнюю доброжелательность к новому искусству.

Автор этой книжки развязен, популярен и откровенен, он решительно написал то, что некоторые мяли во рту, не решаясь высказать, а именно, что поэзия Маяковского — это «шутовство», «хулиганство», «идиотство», но никак не поэзия. Уже одно это делает книгу ценной. «Когда-нибудь, через сорок лет, по этой книге будут изучать психологию мамонтов,— подумал я.— Побережем ее для будущих историков литературы». Каково же было мое удивление, когда я встретил эту книгу в районной читальне, и тогда-то я понял, что писать о ней надо сейчас, а не через сорок лет.

. . . .

...Итак, вот оно, печальное лицо мамонта, надевшего на себя современную маску. Вот он — отчаянный смех вымирающего животного перед неудержимой лавиной нового. Может быть, он еще не подозревает о своей участи, может быть, он еще думает затоптать север своими копытами — все равно. Да здравствует хрустящий снег, неумолимые льдины, да здравствует северное сияние!

Научный выбор профессии

Пародия на вечер в Политехническом музее

В Москве сорок сороков заборов. На каждый нз них была налеплена афнша. Афиша гласнла:

Большая аудитория Политехнического музея	*Четверг 18 октября*

НАУЧНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Миллионы людей страдают оттого, что ненаучно выбрали профессию. Трудно ли научно выбрать профессию? Поэт, инженер, киноартистка. Выбор профессии и Шаляпин. Выбор профессии и половой вопрос. Научный конгресс. Бородатая брюква. Как самому научно выбрать профессию?
Доклады делают разные профессора. Среди выступающих Демьян Бедный. Вступительное слово — А. Луначарского.
После докладов демонстрация фильма: «Научный выбор профессии» в 6-ти частях.
Сверх программы комедия.

Начало в 8 часов.

Людей в Полнтехнческом собралось столько, сколько было афнш. А может быть, еще больше. Сначала часовая стрелка стояла на 8-мн, а мннутная на 9-ти. Потом часовая передвннулась на «9», а мннутная встала на «8». Несмотря на это, вечер не начнналcя.

Аудиторня, однако, не волновалась. В Политехническом музее аудитория вообще очень вынослива. Людн от нечего делать снделн на своих местах, скатывали в шарикн свон бнлеты и делились предположеннямн о вечере.

— Интересно, скажут лн, как узнать, фотогенннчное лицо илн нет?

— Как по-вашему, кем мне сделаться, поэтом нли сапожником?

— Как сказать. Поэтом, правда, легче стать, но зато сапожннком выгоднее.

— Любопытно посмотреть Демьяна Бедного!

Минутная и часовая стрелки сошлись обе на 10-ти, когда вечер все-таки начался.

— Луначарский, товарищи, уехал в Ленинград,— мрачно объявил председатель,— и потому вступительного слова не будет.— И сейчас же, не оставляя времени для реплик, быстро добавил: — А говорить сейчас будет заведующий лабораторией по определению профессий при Главном институте.

Заведующий, длиннорукий, но близорукий, выдвинулся вперед и начал уверенной скороговоркой:

— Возникновение лаборатории находится в связи с циркуляром № 000317, каковой, устанавливая в пунктах А, С и Д обязанности административного персонала института, касался в остальной своей части недостаточно подробно, в связи с тем следующий циркуляр № 004816, предусматривая бюджетную смету учреждения, а также в общем и целом, благодаря которому связанные с этим вопросом легли в основании отчетности, были увязаны и разрешены. Циркуляр же № 056832 касался главным образом...

Заведующий прервал на минуту речь и налил из графина стакан воды. Это была роковая ошибка. Если он хотел продолжать говорить, не следовало останавливаться. Обрадованная передышкой аудитория принялась неистово аплодировать. Заведующий сделал попытку возобновить речь, но где там! Публика в ужасе зааплодировала еще громче. После нескольких безрезультатных попыток заговорить несчастный заведующий принужден был уйти.

— Слово предоставляется профессору Академикову,— провозгласил председатель.

Аудитория ожила. Профессор махнул рукой и начал:

— Научная профессия, профессия ученого, требует особых способностей и навыков, навыков, которые необходимы. Какие же способности, какие же, я сказал бы, качества должен иметь всякий выбирающий себе научную профессию, профессию научного работника? Прежде чем ответить на этот вопрос, прежде чем...

— Извиняюсь,— сказал чей-то голос,— но тема вечера не «Выбор научной профессии», а «Научный выбор профессии».

Кто-то засмеялся. Профессор растерянно поглядел

на говорящего, посмотрел на афишу, расстеленную на столе, взглянул на часы и выбежал из аудитории. Председатель с сожалением посмотрел на дверь и объявил:

— Слово предоставляется профессору Мухоедову, автору книги «Аналитический метод в жуковедении».

Профессор выполз на эстраду и зажужжал:

— Выбор профессии есть очень сложный вопрос, и решить его может только широко образованный человек. Между тем школы второй ступени дают недостаточную подготовку. В частности же, очень мало внимания уделяется зоологии, а особенно тому ее отделу, который занимается жуками. Жуки разделяются на следующие виды...

В зале раздался страшный шум. Это лопнуло терпение публики.

— Хватит! Довольно! Давайте фильму! Фильму!..

Председатель, немного побледневший и как будто чем-то расстроенный, стал объяснять:

— Вот ведь в чем дело, товарищи. Совкино, видите ли, перепутало и вместо «Выбора профессии» прислало нам американский боевик «Роковое свидание». Если желаете, можем его пустить.

— Да, да, пустите! — закричала наиболее легкомысленная часть аудитории. Остальные, однако, запротестовали. Шум не утихал.

— Товарищи, успокойтесь,— провозгласил председатель.— Сейчас выступит товарищ Лекторский.

Аудитория на мгновение притихла. Товарищ Лекторский выступил на передний план и, не стараясь скрыть своего превосходства, властным тоном приказал:

— Берите карандаши и записывайте. Сейчас я продиктую признаки, по которым вы можете установить, к какой профессии у вас имеются способности.

Аудитория притихла. Лекторский начал диктовать, и слова его, падая в аудиторию, подхватывались концами карандашей и втискивались в бумагу. Он диктовал:

1. Если вы любите слушать радио. Если вы знаете наизусть таблицу умножения. Если вы дочитали до конца «Цемент» Гладкова, то из вас выйдет превосходный инженер.

2. Если вы любите учить людей, как им следует поступать. Если вы можете часами говорить о том, чего

толком не понимаете. И если маленькие дети вас боятся, то у вас имеются способности педагога.

3. Если вы никогда ничего не читаете. Если вы не знаете грамматики и если вам не жалко бумаги, то вам следует стать писателем.

Докладчик умолк и самодовольно посмотрел на аудиторию. Видны были только одни затылки, так как лица склонились над записными книжками.

Председатель, который до того был как будто чем-то встревожен, вышел теперь спокойно вперед и сказал:

— Товарищи! Вечер окончен.

Удовлетворенная публика расходилась.

«Божественное» Беззубово

I

И под звонок
 и под свисток
Рванулся поезд
 на восток.
В такую мглу
 какой восторг
Лететь через мосток!
Блеснет фонарь
 из-за угла,
И мы к нему
 летим стремглав.
Кругом,
 зажмурив солнца глаз,
Спокойно пашня улеглась.
Наш паровоз,
 лети вперед,
Несись
 под гул и скрежет!
Рукой берез
 меня берет
Ночная эта свежесть.

II

Хлопья пара
 быстро валят,
Тают,
 висунт на сосне.
Плыли искры
 и скрывались
В искривленной
 синизне.
С ближней рощи
 палки-елки
В окна прут
 ежом-ершом.

Темь и ветер,
    елки-палки!
До чего же хорошо!

III

Светает.
    Едем лесом мы,
Цветам лицо соря.
Глазами
    жгла белесыми
Рязанская заря.
И дым
    за тучку прячется,
И день
    от солнца розовый,
И рощица
    таращится
Ручонками березовыми.
В дыму речушки занесло.
Лечу на чугуне я,
И чудится —
    Узуново
Из-за лачуг виднеется...

Дачники

Они встают поздно, в 9—10 утра, когда солнце пробежит уже достаточную дугу и образует с землей угол больше сорокаградусного. Впрочем, в этом у них наблюдается некоторое несходство привычек: длинный и тощий Эсча * любит вставать пораньше и наслаждаться благами летней природы (яблоками), старшая сестричка Энча вместе с толстой и неповоротливой Элчей предпочитают поваляться подольше в постельках. А младший Ача удивительно непостоянен: то он спит дольше всех, и его приходится за ноги стаскивать с постели, то вскакивает раньше всех и насмехается над сестричками. Впрочем, наклонность к некоторой насмешливости над проспавшими замечается у них у всех. Даже добродушный Эсча и тот при виде всякого вставшего

* Эсча — Сергей Чекмарев, Энча — Нина Чекмарева, Элча — Лида Чекмарева, Ача — Анатолий Чекмарев.

позже восклицает притворно-изумленно: «Что-то ты так рано!» Остальные же идут гораздо дальше: они поражают жалами насмешек в самое сердце и доводят несчастную жертву до негодования и слез. Однако насмешки не мешают им вставать как можно позже, и они даже придумали для себя два подходящих оправдания: первое — «Когда хочу, тогда встаю» и второе — «Вон Ача встал как-то раньше, да взял да и разбил окно в кухне». Оправдания эти по своей убедительности напоминают купеческое: «что хочу, то и делаю» и «вон соседка отдала сына учиться, а он глаз-то и выколол», а по способу доказательства они похожи на 1) «дуракам закон не писан»; 2) «нет, я не был за границей, но мой брат играет на скрипке».

С самого «раннего» утра (с 12 часов!) у них начинаются дела хозяйственные, которые заключаются в мытье посуды, уборке постелей, подметании пола. Производятся они с такой тщательностью, что занимают по нескольку часов.

Несмотря на то, что все дела, которые попадают им в руки, растягиваются как резина и занимают втрое больше времени, его у них остается больше, чем надо. Целый день в распоряжении дачников! Но они настолько неумело распоряжаются такой дорогой собственностью, что свободное время превращается в какую-то докуку или тяжелое испытание. Весь день они переходят с места на место, слоняются из угла в угол и никак не найдут себе такого места, где было бы и не скучно и можно было бы ничего не делать. Они приехали на каникулы и на дачу, и потому благодаря первому обстоятельству они не могут заниматься умственным трудом, а благодаря второму — физическим. Но как бы то ни было, они все-таки в деревне, и это накладывает свой отпечаток. Голова не работает по-городски, руки не работают по-деревенски, но зато желудок работает и по-городски, и по-деревенски. Целый день они ходят, поплевывая окусочками, и если бы сложить количество яблок, которые они поели за лето, то получилась бы астрономическая цифра, вроде объема Солнца или расстояния до Большой Медведицы.

Но при виде их бесцельного ничегонеделания (бывает ничегонеделание с целью, например забастовка) никто бы не сказал, что они не знают, что можно было бы

делать. Но день проходит, и они только спрашивают себя: а что мы сегодня делали? И оказывается, что ничего не делали, что время распределили самым бессмысленным образом. И так же проходит второй день, третий, четвертый. Сейчас они прожигают и разбрасывают свободное время, а зимой будут жалеть, что его не хватает.

Тургенев сказал: особенно хорошо бывает тогда, когда даже не замечаешь, скоро ли, тихо ли проходит время. У наших же дачников время проходило особенно плохо: минуты и часы ползли медленно, страшно медленно, в ленивом и утомительном бездействии, а дни, недели летели стрелой, так что не успеваешь их считать.

Вялый и пустой день у них тянется долго-предолго, как тянучка, и, как тянучка, вязнет на зубах так, что приходится насильно отделываться от свободного времени. Но дни, в общем, летят, как камень с высоты. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, так как все ближе осень, школа, учение, а они не только не успели подготовиться и отдохнуть, но все перезабыли и, гораздо хуже,— утомились от глупого длительного бездействия.

Так должны проходить тоскливые дни осужденного на смерть, у которого не хватает силы воли для выполнения вполне возможного подкопа. Он в сотый раз начинает его, все на новом месте, и в двухсотый бросает, подстрекаемый ленью и не поддерживаемый волей.

Они уже не могут по-настоящему приняться за дело и к пустому, бессмысленно растраченному времени будут прибавлять новое и новое время, и так до самой осени. Все их уверения и обещания с завтрашнего дня уж обязательно начать заниматься и «физкультурничать» похожи на клятву пьяницы перед рюмкой водки: «Ей-богу, это последняя рюмка. Больше пить не буду!» Но это неправда! Он будет! И дни, тоскливые, однообразные, похожие один на другой, как близнецы, но скверные и злые близнецы, тянутся и будут тянуться глупо, ленивые и бессмысленно.

* * *

Дорогие москвичи!

Будьте подешевле. Не заставляйте себя просить и упрашивать. И если скука опустится на ваши комнаты,

если иебо горько заплачет, уткиувшись головой в подушку, и иатяиет иа себя тучи, как одеяло; если сердце вдруг решительио застучит и заявнт, что оио не в силах больше терпеть н желает вспомнить о веселом ветре, овсяиых просторах, о злобиых яблонях, сжимающих кулаки; если слова «жорес», «жасмни», «рожа» вдруг иапомият вам человека, имя которого составлено из тех же букв,— то возьмите, товарищи, перо н пододвнньте к себе чериильинцу.

А я жнву хорошо. Картошку мы выкопалн, последиюю гречнху достукали и теперь мечтаем о мельннце. Топится горница, дымит самовар, солице доедает последиюю тучу. В общем, очеиь весело и вкусно. Пришлите мие мое пальто. Мие на диях придется ехать в Узуново с хлебом. Надеюсь, вы догадаетесь завернуть в пальто что-нибудь такое интересиое, иапример последиий иомер «Советского фото». А также выпншнте газету, одиу-едииствениую газету, откройте хоть на мннуту «окио в Европу».

Письма ваши от 13-го получил.

Только вот обида
Сердце мие сломала,
Что сестрнца Лида
Написала мало.
А братншка Толечка
Написал вот столечко...
Я живу в провииции.
Ветер в окна тычется.
По какой провиииости
Вы мие мало пишете?
Ах, сердитый запад,
Дорогие тучки!
Перестаньте капать,
Бросьте ваши штучки!
Ведь живут же граждаие
С письмами, с газетами —
Мие иедели кажутся
Иксами и зетами...
Лети же, сердце, в дальиее
За Гурьево, за Крытово,
Остаиусь в ожидаиии
Тяжелого «закрытого».

Посылаю для вашего «Метеора» (пусть он будет теперь вашим) передовую статью и небольшой рассказ.

Даешь «Метеор»!

После полуторагодичного перерыва «Метеор» как будто бы снова хочет показать все перья в своем хвосте. Опять потянется старая история с материалами, которых никто не хочет доставлять, и опять с прежними вечными отговорками. Поэтому лучше, рассортировав эти отговорки, ответить на них раз навсегда, чтобы отлыниватели были принуждены выбирать: сочинять ли новые отговорки или материал для «Метеора»? Не берусь судить, что окажется легче.

«Не для чего писать». Для чего человеку нужны глаза? Странный вопрос! Глаза помогают нам во всем: ходить, пить, есть, шить, писать, учиться, вообще работать. И только? Нет, не только. Никто бы не согласился лишиться глаз, даже если бы ему гарантировали, что он сможет по-прежнему работать, ходить не спотыкаясь, узнавать встречных и т. д. Это потому, что само по себе «смотрение», хотя бы бесцельное,— есть удовольствие. Я сейчас вижу небо, облака, крыши, антенны... Зачем мне все это, разве это помогает мне работать? Но странно было бы предполагать лишиться всего этого. Точно так же странно спрашивать, для чего человеку нужно умение владеть словом, умение писать доклады, стихи, рассказы. И вот почему. Громадную пользу умения писать отрицать никто не станет. Этому учат и в школе, и в учейке, и на заводе, этому учат и детей и взрослых. Но для чего нужно умение писать стихи, рассказы? «Детская игра, несерьезное занятие» — так ответите вы.

Умение писать рассказы дает умение передать разговор, описывать события, характеризовать людей, передавать впечатления, настроения, наблюдения и т. д. и т. д. Это умение чрезвычайно важно для ведения дневника и для писем. Сколько приходится писать писем! А «здравствуй», да «прощай», да «пришли вязаные чулки» — это ведь не письма. Эти же навыки пригодятся и для устной речи — умение ярко и занимательно рассказывать.

А умение писать стихи, фельетоны — это для чего? Всякому из нас, кем бы он ни был, придется, вероятно, вести культурную работу, а большую роль в культработе имеет стенгазета. А большую роль в стенгазете играют именно стихи, фельетоны. В наше время, когда стенгазета имеется всюду — в школах, вузах, фабриках, учреждениях, казармах, селах,— когда в стенгазетах пишут малообразованные люди, когда имеются сотни тысяч рабкоров и селькоров, умение хорошо писать в стенгазете чрезвычайно важно.

Человек, владеющий словом, получает еще и другую выгоду. Вполне понятно, что хороший ход способен как следует оценить только шахматист, хороший удар ногой — только футболист. Так же и литературное произведение может вполне оценить только тот, кто знает технику рассказа, стиха и умеет писать сам. Умение писать дает и умение читать.

Таким образом, главная задача журнала «Метеор» ясна. Это учебная тетрадь для работы над словом, и она важна не меньше, чем всякая тетрадь по физике или математике, а в жизни многих людей (не научных работников), пожалуй, сыграет бо́льшую роль, чем, положим, физика.

Но у «Метеора» есть и другая задача — быть стенгазетой. «О ты, великий лирик», «Что за праздник», «Работницы», «Бутон», «Крым», «О Бутонке, который был тонкий», «Дачники», «Письма», «Для чего?» — это все от стенгазеты, и притом живой и занимательной. А разве не весело и не полезно издавать стенгазету?

Имеется еще третья, маленькая задачка — журнал должен стать полезной книгой, распространяющей полезные сведения: как спрыгнуть с трамвая? Почему при вращении вода из ведра не выливается? Что такое бешенство? Почему при ветре холоднее? Это все могут спросить у вас, как у «образованных», на каждом шагу.

И наконец, четвертая, побочная задача — научиться рисовать, подбирать иллюстрации, это также немаловажная задача.

«Писать не о чем...» Как — не о чем? Это бессмысленная постановка вопроса. Если вы говорите, что не о чем писать, то подумайте, что должно случиться, чтобы было о чем писать. Землетрясение? Пожар? Убийство? Так ведь вы не напишете, если это случится, ей-богу, не

напишете! Про такие вещи очень трудно писать. А если думаете, что напишете,— предположите, что случилось, и катайте! Но к делу. Нет тем, вы говорите?

А ваши письма ко мне, в которых бы рассказывалась ваша жизнь в деревне — в стихах ли, в прозе ли,— разве не тема?

Ваш «дачный бытик» с 11-часовым сном, боязнью физического труда, упражнений, скукой, мелочными спорами (из-за места!) — разве это не тема? То, что вы видите вокруг — природа (только не «травка зеленеет, солнышко блестит»), крестьяне, деревенские разговоры, обычаи,— разве не тема? Праздники (Парижская коммуна, Октябрьская революция), политические события (разрыв с Англией, убийство Войкова) — разве не темы?

Чрезвычайно полезно было бы излагать свои мысли по поводу прочитанных книг (Андреев, Диккенс, Безыменский, Маяковский, Синклер) — отдел рецензии.

Наконец, может, вспомнив старое, приняться за стихи о «Бутонке», изобретать способы полетов на Марс — тоже ведь полезно.

«Хотим писать, но не выходит». Как это? И есть о чем писать, и нужно писать, а не выходит? Ведь это смешно! Вот для того, чтобы устранить такое трагикомическое положение, и надо издавать «Метеор», не то еще смешнее будет, когда в такой тупик встанет взрослый человек! Пока еще нечего бояться этого неумения. Ведь если предложить вам сделать стол, вы не сумеете, а выучиваются же люди. Но надо помнить, что, не входя в воду, плавать не научишься, и поэтому лезьте смелей! Утонуть не утонете, а плавать в конце концов выучитесь. Если сначала выходит плохо,— ничего, авось не на выставку.

«Некогда». Такая постановка мне кажется несколько рискованной для вас. Чья бы корова мычала, а чья бы молчала. Уж у кого, у кого, а у вас время так бессмысленно организовано, так много его пропадает зря, без всякой пользы или удовольствия, что трогать этот вопрос далеко не безопасно. Весьма возможно, что при таком диком распределении времени у вас и не хватит его на «Метеор» (я имею в виду зиму, летом должно всегда найтись время). Но попробуйте (обязательно сна-

чала установив, как вы проводите время) построить его целесообразнее — не с большей нагрузкой, а целесообразнее,— и вы, я твердо уверен, найдете время для двух «Метеоров».

Викторина

Картинка с натуры

К стенке избы-читальни села Гурьева мукой была приклеена афиша:

ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ!

Приехавший из города Венева кружок безбожников устраивает в понедельник, 24 декабря, в 7 часов, в селе Косяеве, в здании школы

грандиозную викторину-базар
«НАУКА ИЛИ РЕЛИГИЯ»

За лучшие ответы будет выдана ценная премия — САМОВАР.

Председатель
Веневского кружка безбожников
Д. Трехсвятский

Яков Калинкин прочел афишу и в раздумье остановился.

— Что же это, Павлович, за базар будет? — обратился он к подошедшему крестьянину.— Самовар, что ли, будут продавать?

— Не знаю. Сказывали, что задаром дадут самовар.

— Задаром? Как же это так? И кому же это?

— Не знаю, приходи — увидишь.

И Калинкин пришел.

— Товарищи, считаю вечер открытым, — сказал председатель, с удовольствием оглядывая битком набитую избу. «Что я говорил? — шепнул он секретарю.— Успех, громадный успех!..» — Приступаю к чтению вопросов. Первый вопрос: «Из какого языческого праздне-

ства создалось христианское рождество?» Кто желает ответить, прошу поднять руку.

Председатель обвел глазами собрание. Ни одна рука не поднялась. На всех лицах выражалось недоумение.

— Вто... второй вопрос,— продолжал председатель неуверенно: — «Какой обряд у древних египтян соответствовал нашей пасхе?» Кто хочет ответить, прошу поднять руку.

Все молчали. Председатель отер пот.

— Попроще, попроще чего бы...— зашептал секретарь.

— Третий вопрос: «Какие элементарные предписания гигн... Какой вред может произойти, когда целуют иконы и кресты?»

Председатель с отчаянием оглядел аудиторию. Вдруг один из сидящих на задней скамье кашлянул и несмело поднял руку. Надвинутая на глаза шапка и густая черная борода почти целиком прикрывали его лицо.

— Говорите, говорите,— обрадовался председатель.

Все головы повернулись к бородачу.

— Такой вред,— отвечал тот, вставая,— что если к кресту приложится сперва больной, а потом здоровый, то и здоровый очень просто может заболеть. Зараза — она прилипчивая.

— Правильно,— поддакнул кто-то из сидящих.

— Верно,— одобрил и председатель.— Молодец! Четвертый вопрос,— продолжал он уже спокойнее: — «Отчего бывает гроза и какие атмосфе... и верно ли, что в это время Илья-пророк катается на колеснице?»

Теперь председатель уже прямо смотрел на бородача. Тот опять поднял руку.

— Нет. Гроза бывает от электричества, которое сидит в тучах, а про Илью-пророка все это выдумки.

— Верно,— похвалил председатель и уже задал следующий вопрос.

Только на три вопроса не сумел ответить бородач, но зато по остальным разъяснил все вдумчиво и основательно. Другие крестьяне слушали его внимательно, но сами ртов не раскрывали. Премия, конечно, была присуждена бородачу.

— Получайте, товарищ,— сказал председатель, передавая ему сияющий самовар.— Очень приятно, что вы так хорошо разбираетесь. Вы из какой деревни?

— Из Клемина я,— глухо ответил эрудированный безбожник и сейчас же заспешил к выходу.

Председатель хотел было попросить его организовать в своем селе кружок безбожников, но махнул рукой и отправился восвояси. Мероприятие было проведено удачно, и можно было этим удовлетвориться.

Крестьяне группами расходились по своим деревням.

— Цари небесные,— сказал Калинкин, пересекая дорогу,— вот это фунт! Так и режет, так и режет... Чей это такой мужик, я не разобрал, а будто бы и впрямь видел я его в Клемине.

— Не знаю,— отвечал один из спутников,— вроде как бы и я его видел где-то.

— Кого это? — спросила подошедшая старуха.

— Да вот мужика этого, самовар которому дали.

— Мужика? Аль ты не узнал? Да это клеминский батюшка!

— Какой батюшка? — обалдело спросил Калинкин.

— Вона! Аль не знаешь? Он уже давно тут. Он и у нас теперь будет служить.

— Вот оно что,— со злобой сказал Калинкин.— Нет, врешь, он у нас не будет служить... Илья-пророк, говоришь? Крест целовать? Ах он, зараза!..

И Калинкин сплюнул на дорогу.

Мужики пошли дальше, оживленно беседуя.

* * *

Дорогие горожане!

Посылку вашу получил, но больше, чем колбасе и шпротам, обрадовался я газете, в которую все это было завернуто. Только из нее я узнал, что английские горняки еще не сдались. Дело в том, что «Рабочая газета» мне больше, неизвестно почему, не доставляется. Уладьте это как-нибудь. Я решительно не знаю, как я буду здесь жить без газеты...

Неужели нельзя подписаться ни на одну газету? Как же жить без газет, календаря и часов? Я потерял всякое представление о времени. Несмотря на то, что сейчас двенадцатое сентября, я живу в августе, потому что здесь нашелся комплект газеты за август. Я читаю эти газеты от строки до строки...

Ах, сердитый Запад!
Дорогие тучки!
Перестаньте капать,
Бросьте ваши штучки!
Ведь живут же граждаие
С письмами, газетами...
Мие иедели кажутся
Иксами и зетами.

Сейчас идет дождь, иамазывается иа подошвы дорога, скрипит колодец и тяиется какой-то осеиний месяц.

Дорогие москвичи! Как у вас там живется, ходится, делается? Так же ли тускло у вас иепротертое солице, так же ли часто закат заглядывает в окио? Громко ли стучит ваше сердце?

Вот иа какие вопросы хотел бы я получить ответы.

Жаль, мне ие придется быть иа вечере Маяковского; жалею ие столько о стихах, сколько о докладе. Если будете иа вечере, то прошу вас — запомиите, что он будет говорить, и, придя, запишите в общих чертах. Можно бы и мие поспеть к 26-му, ио я по разиым причииам должеи подольше пожить в деревне.

Выписка из протокола

(Председатель тихим голосом говорит,
закаичивая речь.)
«...Оставаться ли здесь
иа осеииее время?
Ехать ли в поиедельник?
Итак, товарищи,
жду выступлеий,
Но только серьезиых и дельных.
В первую очередь
слово «за»
Имеет товарищ Глаза».
Товарищ Глаза
подиялся,
Надел очки
ииаче,
Оглядел голов
бушевавшую кашу
и начал:
«Господа!

Я люблю ходить в кино,
Чувствовать ветер времени.
Неужели же мне
навек суждено
Оставаться
в этой деревне?
Я разные книги люблю читать,
Особенно
за обедом.
Я, может быть, странен,
может, чудак.
Но книга,
которая начата...
Да что говорить об этом!
Ведь там —
в витринах
книги!
Стихи!
Очки,
сверкай
от восторга!
Быть может,
там солнце
«Кросс Кодитри»
Спорит с Сириусом
«Пушторга».
Быть может, уже
земля на оси
Ближе к солнцу повернута!
Теория
относи-
тельности
Уже давно опровергнута!
Быть может,
над миром
уже шелестит
Какое-то новое знамя!
А мы тут
спим от шести до шести.
А мы —
ничего не знаем.
Что же тут делать?
Считать ворон?

Глядеть на плетнн
    и нзбы?
А там —
    огнн с четырех сторон.
«Измы»
    лезут на «нзмы».
Как можно спорить
    об этом вопросе?
Конечно же,
    брать билеты.
Я буду не в снлах
    выиестн осеиь.
Довольно с меня н лета».
Глаза замолчал.
    Шорохн,
        стуки.
В зале
    глухое брожение.
«Дальше
    имеет
        товарищ Руки
Слово
    для возраження».
«Почтн рыдая
    на нашей грудн,
Играя
    словамн всякими,
Много·оратор
    нагороднл
Чушн и поросятниы.
Во что же
    сердце его влюблеио?
Посмотрнм-ка:
    кннгн разиые...
Какне-то «измы»..
    «Пушторг»...
        Кнно...
Витрнны...
    Зиамя...
        (коиечио, не красиое!)
И все!
А сельскне зорн,
    бьющие в стекла?

А солнце,
сверкающее
сквозь ставни и скважины?
Или это глупо?
Дико?
Блекло?
Не интересно?
Не нужно?
Не важно?
А пахота, сев,
а уборка хлебов?
А запах свежайшего
сена?
А тучное стадо
кормилиц-коров?

Неужто все это
не ценно?!
Знаем мы этих
субъектов
в очках!
Они —
без изменения!
Прошу
гражданина
не валять дурачка
И выслушать
общее мнение».
Оратор садится,
и сразу, как дождь,
Организованный
ливень ладош.
А в это время,
расправив плечи,
Товарищ Желудок
готовится к речи.
«Вам, товарищи,
хочется смеяться,
Что вот, мол,
дядя вылез —
Говорить о сметане,
о мясе,
Об арбузах навырез.

Ему, дескать,
лишь бы
лакать молоко.
Да кушать
яблоки имени Антона,
И нет ему дела
ни до чего.
Ни до Парижа,
Ни до Кантона *.
Но это,
милые граждане,
ложь.
Отчего же?
Я тоже романтик.
Я тоже хочу
человеческий лоб
улучшить
И сделать громадней!
Но каждый
из нас —
Лишь частица мира
и должен
знать свои роли.
Организму
нужно
столько-то
жира
И столько-то
граммов соли.
Вы думаете,
что все это шутка?
Может, самый вопрос этот
низмен?
Однако
если бы
не было желудков,
Не было бы
книг о материализме!
А сколько коварных
у меня врагов!

* Намек на речь тов. Мозжечка о международном положении, произнесенную в начале собрания. (*Примеч. С. Чекмарева.*)

Аппендицит,
холера,
тиф,
катар...

Разве все эти подлецы
Не хуже нашествия татар?
Но вот представьте:
я живу...
цветы горят...
и мир чудесен...»
(Голос председателя:
«Довольно! Хватит!
Говорите по существу».)
«— Э... э... э...
остаться здеся».

Оратор умолк.
Разговор
прекращен.
Начинается голосование,
И возбужденное
зарево щек,
Губ кричанье
и рук售ованье.
Однако как действуют
на умы
Горошинки
шуток
и смеха.
Большинством —
одиннадцатью
против семи
Постановили:
«НЕ ЕХАТЬ!»

Губерния бывшая Тульская

От наших авто шумящих,
От нашей природы тусклой
Ты скроешься в самую чащу
Губернии бывшей Тульской.

О синий такой, морозный,
Родины нашей запад!
По лесу ползущий росный,
Березово-смольный запах.

Тебе покажется диким
Это небо, рябое, в звездах,
Эти липкие лапы гвоздики,
Этот крепкий сосновый воздух.

Как вылетевший из пушки,
Ты ходишь, кругом озираясь:
Кривые, глухие избушки...
Растущая зелень сырая...

И рядом, торчащая странно,
Сухая погибшая ветка
Зияет у леса, как рана,
Как след топора человека.

Где же он сам, властелин природы?
Уж не в этих ли черных лачугах?
Почему его огороды
Не цветут плодоносным чудом?

Почему его урожаи
Не вонзаются в неба глуби?
Что посевам его угрожает?
Кто его луговины губит?

Рождает наш век двадцатый
Много мыслей и дел высоких,
Отчего же вот здесь, за хатой,
Деревянные живы сохи?

Ведь не всё же, не всё же, не всё же
Уперлось корнями в века.
Ведь бьется ж под чьей-нибудь кожей
Сердце большевика!

Не все же, не все же, не все же
У тысячелетий в плену.
И тянет рябиною свежей
К раскрытому настежь окну.

Для тебя этн гроздья пылают.
Недаром же сквозь жнлет
У тебя, как заря, как пламя,
Горит комсомольский билет!

Я знаю: его не потушат
Нн бури, нн оползин гор,
Ты пальцы сцепн потуже
И грозный иачни разговор.

...Цветущее поле колхоза,
Хозяйские руки и счет,
На солнце играя, глюкоза
По тульскнм стеблям потечет.

По днким, пустыииым трактам,
Где иедавио лишь топал мамонт,
Пройдет, громыхая, трактор,
И рожденные скажут: «Мама».

Картофель, полней под землею!
Подсолнухн, хмурьтесь от света!
Невнданной всходнт зарею
Огромный зрачок человека.

Итак, Воронеж!

* * *

Раз у меня есть свободное время, я должен объяснить все по порядку. Итак, Воронеж. Сдав вещи на хранение, поехал я в институт. Сверх ожидания документы у меня приняли весьма любезно, и не успел я опомниться, как очутился в кабинете ботаники. Таким образом, прямо с поезда я попал в объятия хламидомонады. Экзотические листы учебников зацвели передо мной.

Оказывается, здесь организовали дополнительную группу, и от этой последней я отстал немного.

Труднее обстояло дело с квартирой. Общежития мне не дали. Почему? Потому что свободных нет в природе. Пришлось разыскивать квартиру в городе. В незнакомом городе, вечером, это оказалось делом нелегким, тем более что Воронежское «МКХ» произвело недавно перенумерацию домов. Так и скакал я от старого дома девять к новому дому девять, пока не утомился бесплодными поисками.

На следующий день я все же снял комнату. Вернее, не комнату — комнаты дорогие,— а часть комнаты. До трамвая ходьбы пятнадцать минут, и на трамвае езды — пятнадцать копеек.

Что пока я могу сказать вам о Воронеже?

Местность тут гористая, неровная, улицы, чуть не взвизгивая, летят вниз. Часто среди улицы возвышается лестница. Институт расположен примерно так же, как и Тимирязевка. Представьте вместо Каляевской улицы — проспект Революции, вместо Бутырской — улицу Ленина, вместо 12-го номера трамвая — 5-й, и иллюзия будет полной.

* * *

Берусь за письмо с трепетом: опять вы будете обвинять меня в том, что я долго не писал. Не ходили ли вы опять гадать на картах? В таком случае вы должны знать, что бубновая дама угрожала мне пойти на d2 (неминуемый мат!), а трефовый король требовал от меня

зачета по физике. Он и сейчас еще его требует, и потому письмо мое не будет особенно длинным. Да ему и незачем быть длинным: скоро я заявлюсь к вам собственной персоной. Каникулы намечены у нас с одиннадцатого по двадцать шестое. Как видите, недалеко, и если я пишу это письмо, то единственно затем, чтобы показать, что я еще существую, что я еще жив и что трефовый король не смог еще принести мне никакого вреда. У меня настроение самое радужное, и его омрачает только одна фраунгоферова линия: это пропавшая посылка. Не прошу вас писать, потому что надеюсь, что письмо уже находится в дороге. Что вы все тоскуете, что нечего писать? Не обязательно письма должны быть начинены бомбами. Неуловимый строй речи, знакомые закорючки букв, еле слышимый аромат души — вот что должен нести в себе четырехугольник белой бумаги.

* * *

Вчера получил вашу тревожную открытку. Какой ужас! Две недели не было от меня писем! Чем объяснить такое жуткое молчание? Очень просто, товарищи: тем, что преподаватель физики очень непонятно излагает учение о свете.

* * *

В переднем углу моей комнаты, там, где обычно вешают иконы, висит картина с тремя огромными рыбами. Комнаты пустынны, товарищи все разъехались. И когда вечером солнце бросает фиолетовый отблеск и сумерки окутывают окна, я кажусь сам себе необычным. Мне кажется, что я дикарь, рыбопоклонник, что лишь странная случайность привела меня в эту комнату. Мне хочется бежать по берегу и кричать, и вытатуировать на груди формулу динитробензола. «Нет бога, кроме рыбы»,— бормочу я, сажусь к столу и составляю конспект по политэкономии.

Дни текут оживленно. Я сейчас старательно выпрашиваю отпуск в Беззубово для помощи нашему колхозу. Казалось, что вопрос разрешится со дня на день, по этой причине я и не писал вам так долго. Но время

шло, а дело стояло, и я наконец пишу письмо, не узнав результатов.

Деньги я получил. Увы! Немного от них осталось. Завтракаю я теперь постоянно в столовой института и приобрел скверную привычку съедать по два завтрака. Завтрак стоит пятнадцать копеек и очень вкусный. Дают макароны, рисовую (гречневую, пшенную) кашу с подсолнечным маслом. Мало того, я и за обедом беру либо два первых и одно второе, либо два вторых и одно первое. Первая комбинация обходится в пятьдесят копеек, вторая — пятьдесят пять.

А теперь, друзья, откинем все расчеты и побеседуем запросто перед листом белой бумаги, за чашей чернил. Много вопросов осталось между нами невыясненных и слов невыговоренных.

Вы не знаете, на левом ли берегу стоит Воронеж или на правом. Вы не знаете цвета глаз воронежского неба. Вы не знаете, наконец, села Сабуровки. Давайте поговорим хотя бы о Сабуровке.

Итак:

Среди необозримого снега и неба, в двенадцати верстах от районного центра, высятся кирпичные избы и возвышаются трубы. Трубы не трубят, они дымят. Сто семьдесят дворов построились шеренгой в один ряд, встречая меня — командира азбуки. Вьюга молодцевато прокричала свое приветствие. Так я приступил к исполнению своих обязанностей.

Мне предстояло обучать две группы: группу неграмотных (двадцать три человека) и группу малограмотных (сорок пять человек). Обе группы занимались уже по два месяца. Кроме того, под моим наблюдением были ликпункты в Мосоловке, Андреевке, Мальцевском и Апраксинском совхозах.

Первым моим недоуменным вопросом было: что делали до меня предыдущие «ликвидаторы»? Первая группа, как я уже сказал, занималась два месяца. Однако читает она на восьмой странице букваря, и читает так: «пыашу пыар — пашу пар». Если же слово новое, то его прочитать никто не в состоянии. Вторая группа (малограмотных) читала недурно, но зато страдала другим недостатком: не понимала того, что читает. После того как мы прочли несколько раз коротенькую статью, я остановился.

Скажите теперь, о чем тут шла речь?

Молчание и все признаки ужаса.

— Ну?

— Мы этого не можем.

— Будем отвечать на вопросы. Ну, отчего, например, лошади иногда болеют животом?

Молчание.

— Скажи-ка ты.

— Сырой водой поят.

Это говорит парень лет двадцати.

— Вот как! Так, по-твоему, лошадей надо кипяченой водой поить?

Смех.

— Ну прочитайте еще раз и тогда ответите.

Головы уткнулись в книги. Теперь внимание направлено на смысл статьи. Через пять минут загадка разрешается: лошадей кормят перед тяжелой работой.

Что сделал я? Первую группу я решительно согнал с букварей и посадил на разрезную азбуку. Она стала хорошо складывать слова. Буквари же мы использовали для хорового чтения и чтения тех фраз, которые мы могли складывать по разрезной азбуке.

Со второй группой я пошел дальше и начал приучать ее к сознательному чтению. После каждой статьи обязательно вопросы, повторение, пересказ и т. д. Таким образом мы прошли темы: ликвидация неграмотности, пятилетка и колхозное строительство.

Вот о колхозном строительстве.

Как в Сабуровке обстояло дело с колхозами? Еще до моего приезда здесь была некая бригада, которая, пользуясь недопустимыми способами, добилась стопроцентной коллективизации. Как только бригада уехала, сейчас же посыпались заявления о выходе из колхоза. Их долго держали не разбирая, надеясь, что как-нибудь обойдется. Не обошлось.

Мы объявили недействительной прежнюю запись и начали в колхоз записывать снова. О неправильных действиях бригады говорили мы на собраниях, в стенгазете. Мы ходили по дворам и по часу, по два беседовали с крестьянами. К моему отъезду вновь записалось в колхоз сорок пять дворов.

Еще что: поставили мы три спектакля. Выпустили два номера стенгазеты. В первом номере были статьи:

«О бригаде», о кулаке, зарезавшем теленка, о комсомольце, ходившем иа крещение за святой водой, и т. д. и т. д. Стеигазета пользовалась большим успехом. Вскоре после выхода иа одиом из собраний ее сорвали со стены и изорвали. Второй иомер был посвящен исключительио строительству колхозов. Была большая статья «Что говорят о колхозе», разоблачавшая вражеские слухи и сплетии. Когда я уезжал, стеигазета была еще цела.

Вот и все. Да, как я там устроился? Очеиь хорошо. Жил, как в сказке, у старика со старухой. Ел блины, пил молоко.

* * *

Это письмо вам передаст «ревизиоиная комиссия». Я жил спокойио, тихо и чиино, как вдруг гроза повисла иадо миою. Корзииы были вскрыты, их образцовый беспорядок иарушеи, кипы белья начали летать по комиате, пуговицы вдруг приросли к брюкам. В общем, ревизия окоичилась благополучно. Правда, были обиаружены иекоторые мелкие злоупотреблеиия, как, иапример: деиьги, ассигиоваииые иа покупку блюдечка, были злостио растрачеиы, а блюдечко было показаио как куплениое. Больших преступлений, одиако, ие оказалось, и «ревизиоиая комиссия» осталась мной довольиа. Я позиакомил ее с Воронежем, сводил в киио, угостил обедом в студеической столовке, показал Большой театр, Дворец труда, памятиик Петру Первому и прочие достопримечательности Вороиежа.

Теперь скажу о письмах. Не по злости и ие по врожденной испорчениости не посылал я вам писем. Вы, может быть, думаете, что я сижу мрачио в углу, грызу карандаш и обдумываю способ, как вселенную стереть в порошок, а самому остаться живым. На самом же деле я человек очень добродушиый и писать письма даже люблю. Но что поделаешь, если времеии нет. Ваши письма благополучио получил. Толя! Мие чрезвычайио поиравилось твое стихотвореиие. Не то, которое было в предыдущем письме, а последнее:

Где-то далеко,
 на юге ль, на севере ль,
Не то в Воронеже,
 не то в Рязани,

Жил-был студент
с иебольшимн серыми
Не то очкамн,
Не то глазами...

В нем ие нужно нзменять нн одного слова, иа что уж я в этом отношеиин приднрчив. Ты хотел прнслать мие еще стнхи — прнсылай, пожалуйста. Справедливость, одиако, требует сказать, что твое предыдущее стихотворенне нельзя назвать хорошим:

Лектора слова ловя иа лету,
Словно лава львов мясо (!).

Скучна нгра с созвучнямн, за спинамн которых не прячется мысль.

Увы! Я уже бросил писать стихи или ие бросил, вернее, а уроинл. Теперь по магазинам ищу не Кирсанова, и не Сельвннского, и даже ие Вл. Вл., а «Зооветмнннмум», «Организацню труда в колхозах», «О ликвндацин кулачества». Я болен страстью к этнм кннгам. Скучные, серые брошюрки вдруг наполннлнсь для меня жнзнью и кровью.

Как вообще ндут у вас дела? Видели вы говорящее кнно? И так далее, н так далее, до бесконечностн.

* * *

Сегодня мы должны были выехать на сев в соседнний совхоз, но пошел дождь н оставил нас дома. Дома у нас хорошо: иам далн квартиру из двух комнат. Мы устроили коммуну — иас пять человек — обобществнлн продукты, распределили обязаиности. Только вчера я вериулся с табора, где жил среди волов пять дней, а спал в кнбнтке. Как сказаио уже, жнвем хорошо. А раз хорошо — чего же писать?

Деревне

Пылают печн
Борьбы горячей,
Но, сдвннув плечн,
Деревия плачет:
— Была без ситца,
Была босою,

Но жаль проститься
Мне с косою.
Менять ли росы
На гуды города?
Ах, косы, косы,
Девичья гордость!..
Глаза не мучай,
Не плачь, деревня,
Еще ведь лучше
Цветут деревья.
Взгляни косыми,
Поправь косынку,
Взамен косы мы
Дадим косилку.
Взамен коняги
Дадим мы трактор,
Начнут овраги
Дымиться травкой.
Стань на пригорье,
Надень передник,
Мы перегоним
Самых передних.
Так бей же метко,
Иди же ходко,
Пятилетка —
Четырехгодка!

* * *

Позавчера я получил письмо, где вы опять упрекаете меня в том, что я мало пишу.

Часть вступительная.

Дорогие товарищи! Я написал вам столько писем, что ими можно было бы оклеить всю дорогу Москва — Воронеж.

Я истратил столько чернил, что их свободно хватило бы вам умыться, а из карандашей, которые я исписал, можно было бы сделать хорошую палку, которой бы и следовало вас отколотить. Вас больше, и вы, однако, пишете мне меньше. А что буду писать я? Вот я опять уселся в Воронеже.

Часть поэтическая.

Вот я уже и расстался с полями, с красно-рыжими зорями, с ветром, с запахом конюшни. Расстался с деспотической усталостью, которая не позволяет ни рассуждать, ни говорить и которая вечером руками прижимает голову к подушке и пальцами закрывает веки. Я уже не слышу теперь криков «цобе» и «цоб», не вижу печальных воловьих морд, их пенистых, как крем-сода, губ. Воронеж снова охватил меня всеми своими улицами. Что же теперь будет дальше?

Часть информационная.

До пятнадцатого июня у нас будут продолжаться занятия. С пятнадцатого июня начнется лагерный сбор. Он продолжится полтора месяца, а затем, то есть с первого августа, нам будет предоставлен отпуск. В первых числах августа мы, следовательно, встретимся. Но пока я загружен по уши.

Часть научная.

За эти сорок дней, с пятого мая по пятнадцатое июня, мы должны пройти зоологию и паразитологию, физиологию и анатомию, диалектический материализм, органическую и аналитическую химию. Сейчас я изучаю червей — феерию пышных латинских названий, обозначающих гадость одну хуже другой. Диботриоцефалюслятус — что за дикое слово, не правда ли? Или вот еще красивое сочетание: дипилидиум канинум. Знаете ли вы, что это такое?

Часть практическая.

Но довольно, не буду вас расстраивать. Коснусь лучше некоторых экономических вопросов. Вы пишете относительно посылки. Думаю, что маленькую посылку сколотить было бы не лишним. Жду от вас гостей. Толя! По приезде обнаружил твою открытку (Чекгей Сермарев), в которой ты обещаешь прислать тетрадь и трехверстное (3,21 километра) письмо. А где же они?

Часть вопросительная.

Лида! Получила ли ты мое письмо от 4-го? Как твоя практика? Нина! Пришли мне хотя бы выписку из рескрипта, что-то ты молчишь с давних пор.

* * *

Здравствуйте, дорогне роднтелн.

Это письмо подписано уже ие студеитом сельскохозяйствеиного инстнтута, а красиоармейцем-артиллеристом 10-го корпусиого полка. Уже ие кирпнчно-красиая фнзиономня Вороиежа иаходится теперь передо миой, а белое личнко нашего полотняного лагеря, разбитого в лесу, окружеииого запахом берез и сосеи.

Я иахожусь не столь далеко от вас — на той же Рязано-Уральской дороге. Каждый день мимо лагеря гудит саратовский поезд, старый знакомый, который не раз выиоснл меия на тугих своих колесах.

Что сказать о иашей жнзнн? Встаем мы ежедиевио в 5 часов утра и «оружие с рукн иа руку да перекладываем и с ноги иа иогу все мы да переступаем н справа иалево все поворачиваемся». Кроме того — разбираем пушки, слушаем воеииые лекции, пронзводнм разведки и съемки н т. д.

Сбор ие будет продолжительным — всего полтора месяца, н в первых чнслах августа я, наверно, приеду к вам. Напеките тогда побольше лепешек, давно я их не ел. Здесь в лагере кормят, коиечио, недурио, но, к уднвленню всех нас, студентов, иам красноармейского пайка ие хватает.

* * *

Шлю вам свой красиоармейскнй привет. Призиаться, давио хотел я это сделать, ио караидаш упорио ие давался мне в рукн. То время занято походамн, то диевальством, а то работой с красноармейцами или пнсаннем стеигазеты.

Позавчера получнл ваши письма. Первым движеиием монм было взяться за караидаш. Но командир спал в палатке, представнлся такой удобный случай выкрасть у иего стереотрубу, что ннкак нельзя было нзбежать соблазиа. До сих пор мы смотрели иа иее, обступая кучкой в девяиосто человек, вытягивая шеи, как гуси. Как же было ие выволочь ее теперь иа божий свет? С блаженством мы крутнлн все, что крутится, и поворачивали все, что поворачивается, иаблюдая, что нз этого происходит.

Но вот я взялся сегодня за карандаш, а что же вам написать? Живу недурно. То, что прислали посылку,— хорошо, что не выслали денег — плохо, а что не пишете — и совсем скверно. Каждый день из штаба приносят толстую аппетитную пачку писем, и каждый день я оказываюсь с пустыми руками. Толя, где же твое толстое письмо? Да хотя бы худенькое, и то ничего. Нехорошо, товарищи!

Жду не дождусь конца лагерей. Обидно, главное, что лето проходит мимо. Осень не за горами, но мы не загораем — мы закованы в свои «мундиры», на которых не разрешается расстегнуть ни одной пуговицы.

* * *

Здрасть!!!

Вот мое красноармейское приветствие. Звонко, коротко, бодро. Да и время уже звонко и коротко, так как приближается конец лагерей. Но мне и здесь живется, право, неплохо. Работаю я теперь в отделении связи. Соединяю полевые телефоны, бегаю по кустам с катушкой за спиной, сматываю линию, передаю команды и отчаянно сигнализирую флажками по азбуке Морзе. После всего этого ложусь и слушаю, как возятся ребята с командиром у гаубиц:

— Батарея, огонь!
— Батарея, огонь!
— Огонь!
— Бомбой заряд второй!
— Готово!
— Второе готово?
— Готово!
— Третье готово?
— Готово!

И грохот воображаемых выстрелов. Не думайте, что если я связист, так и не знаю огневой службы. Нет, я могу работать и наводчиком, но ведь необходимо разделение труда. Очень часты у нас занятия по стрельбе: мы определяем буссоль, даем угол доворота, уровень, прицел, коэффициент трансформации. Высчитываем шаг угломера и готовим все данные к стрельбе. Ходим часто на разведку, выбираем огневые позиции, наблюдательные пункты. Это все до обеда. После обеда время

катится еще веселей. Тут есть и волейбол, и баскетбол, и пинг-понг, и шахматы, и библиотека, и буфет. Слишком далеко только река — ведь это что же такое — восемь километров. Но все же, но все же иногда становится грустно, а сердце просит чего-то еще. Уже порядком надоели мне красноармейские песни. Особенно вот эта:

Ты-ы, моря-аак, красив сам собою,
Тебе-ээ от ро-ооду двадцать лет.

Неправда! Не двадцать лет этому моряку! Ему было 20 лет в 1919 году, когда по стране ползали танки, когда шли на восток чапаевские полки. Тогда они проносили эту песню на сверкании своих штыков. А теперь постарел моряк, разве 20 лет ему теперь? Разве наше горло не требует других песен? И обидно так, что нет их, нет хороших и новых, нужных нам песен.

Представь себе — молодое утро, наши стройные ряды, выходящие из леска, сотни веселых, задорных лиц, которые не знают, как выразить свою радость, и поют с увлечением:

Эй, чай пила,
Самоварничала!

Не обидно ли? Из-за одного этого хочется стать поэтом.

Учитесь, как черти!

Бывало,
у студента
семь «хвостов».
Черт возьми!
Надо же так случиться!
Хнычет парень:
«не буду учиться,
И никаких гвоздев!»
Теперь же
выросли мы
из кожи обезьяньей,
Газеты и учебники
зачитываем до дыр.

О самом пустяковом изъяне
Заботится товарищ,
  доглядывает бригадир.
Теперь студент
  по-новому чертит,
Готовится
  к бурям
    идущих веков...
Мы лозунг бросаем:
  «Учитесь, как черти,
Чтобы дать
  инженеров-
    большевиков!»

* * *

Давненько не принимался я за письмо. И, конечно, Нина, виноват в этом я, хотя и сама судьба тут руку приложила. Может быть, утром третьего июля я и хотел написать тебе письмо. Может быть, я и взялся бы за карандаш, но дело-то в том, что мне не позволили это сделать. Нас построили, и выдали нам ружья, и велели скатать шинели и не разговаривать, ибо мы идем в поход. Винтовки были начищены керосином и блестели на солнце, как серебро! Глаза нам не нужно было чистить керосином — они и без этого сверкали ярче винтовок. Мы вышли из лагеря в полном порядке. Оркестр сопровождал нас, сотрясая воздух медью. Идти было так приятно в начале похода, н к темноте мы добрались до деревни. Тут мы расположились ночевать. Никакие силы не затащили бы нас ночевать в избы — нет, к нашим услугам были риги. В деревню же мы пошли умыться. Хозяйка вынесла нам ковшик водицы, но мы со смехом выплеснули его на землю, а сами попросили ведро. Не один раз пришлось нам это ведро опустить в колодец, прежде чем мы очистились. Вода клубилась, сверкала и шипела, обжигаясь о наши горячие тела. В саду, где все это происходило, выросли лужи, но зато грязь с корнем была вырвана из наших пор. Удовлетворенные, мы оделись и, не дожидаясь ужина, который варила нам походная кухня, разбрелись по деревне со своими котелками. Крестьяне охотно давали нам молоко и никак не хотели брать за него денег. Кто

бы другой ие поверил, что я выпил целый котелок молока, ио ты поверишь — ты зиаешь, как я люблю молоко. Затем четырехчасовой сои, полчаса на диевальство — и сиова в поход. Так хорошо идти раииим утром!..

Пройдя километров десять, мы остаиовились и стали распределять свои силы в ожидании противиика. Комаидир объясиил иам тактическую задачу. Затем мы иачали иаступать развернутым строем, иаступать иа зловещий овраг, чериевший иа горизоите с одииоким штыком дерева.

Мы бежали по пашие с виитовкой наперевес под звуки воображаемого пулемета, бежали, пока сердце ие иачало колотиться в груди чаще, чем пулемет (ио, увы, ие воображаемо). Затем ложились и палили холостыми патроиами. «Враг» отвечал иам тем же. Проиаступав до поту, мы стали тем же порядком отступать. Затем — иевообразимо длиииый путь, и вот к двум часам мы иа месте сбора. Усталость лежала иа иаших плечах и каплями стекала с тела. К обеду мы едва притроиулись, ио жадио иапились и скорей, скорей разбрелись спать. Сапоги присосались к иогам, как пиявки, ио их удалось-таки стяиуть. И какое это, право, удовольствие чувствовать иоги свободиыми! Одиако долго спать иам не дали. Через час подияли, чтобы вести в лагерь. Ох этот обратиый путь! Мы уже ие строем шли, шли беспорядочио. На иаше счастье, на пути попадались ручьи и колодцы. Дойдя до воды, я каждый раз черпал ее фуражкой и иахлобучивал иа голову. Это удивительио освежало, удивительио! Но вот — и пятиадцать километров имеют свой конец — мы вошли в парк. Оркестр заиграл марш, самый торжествеииый из всех маршей, и мы вошли в лагерь совсем бодро. Так закоичился иаш поход.

* * *

Вы пишете, что с иетерпеиием ожидаете первого августа. Но ие думайте, что я приеду к вам имеиио в этот деиь. Первого августа я буду только еще в Вороиеже, а кто зиает, может быть, придется здесь задержаться. Наш ииститут реорганизуется, животиоводов хотят ликвидировать,— очевидио, придется придумывать какие-иибудь комбииации.

Снова в Москве!

* * *

И вот наконец:
Мимо черных цистерн и зеленых лужаек,
Огибая красные товарные груженные чем-то составы,
Среди лязга железных цепей и воя паровозных свистков,
Кружась по лабиринту выныривающих вдруг зданий,
Взлетая внезапно в облитый асфальтом город, пахнущий
Анилиновыми красками и свежестью майских бурь,—
МОСКВА!

Москва — сердце мира, или нет — вернее, его левое предсердие, разгоняющее по всему миру алую артериальную кровь.

* * *

Дорогой Виктор! *

А не пора ли тебе и подешеветь? Не пора ли раскрыть свою записную книжку, выудить оттуда мой адрес да и написать мне письмецо? Я, со своей стороны, давно уже собирался написать тебе, но то не было времени, то настроения, а когда случалось и то и другое, не оказывалось под рукой карандаша.

Что сказать тебе теперь, когда карандаш наконец оказался под рукой? Вот я уже и в Москве. Живу я на Спасской. Комната у меня довольно приятная, даже с видом на социалистическое строительство. Кирпич, щебень и мусор цветут под окнами. В общем, я чрезвычайно доволен своей жизнью. Я рад, что честно могу смотреть в синие коровьи глаза, что я не изменил зоотехническому делу ради какой-то свеклы или морковки, как ты. Нет, теперь ни одна корова не посмотрит на меня укоризненно. Институт мой называется мясо-молочный, год его рождения 1930, пол деревянный, национальностей он — всех сразу и член профсоюза. Я учусь на

* Товарищ С. Чекмарева.

мясофаке, работаю много, догоняя свою группу. Сейчас кончаю сдавать анатомию. Вот как обстоят дела. Иногда на улицах я встречаю столько воронежских товарищей, что невольно забываюсь, сажусь вместо 12-го на 5-й номер, беру билет до Сельскохозяйственного института и еду к черту на кулички.

Штурмовой квартал

По черным лесам,
по огромным равнинам,
Во всех концах
необъятной карты
Гудят призывы:
«Кадры нужны нам!
Кадры дайте!
Дайте кадры!
Нужны инженеры!
Врачи!
Агрономы!
Нужны зоотехники!
Директора!»
Мы землю заставим
глядеть по-иному.
Проходят комбайны,
гудят трактора!
Мясо-молочный!
Мясо-молочный!
Это к тебе
обращен призыв.
В работе огромной,
горячей
и срочной
Бейся же лучше,
бери призы!
А как мы поем
Октябрьские песни?
Довольны мы
перечнем
наших побед?
Обезличка изжита?
Прогулы исчезли?

Хвосты уничтожены?
Все еще нет!
Комсомол
лозунг
дал боевой:
Четвертый квартал
даешь штурмовой!
Все силы вложим
в один порыв,
Мясо-молочный,
штурмуй прорыв!
Покажем примеры
ударной учебы,
Чтоб наша стройка
шла горячо бы.
За качество знаний!
За темпы!
За технику!
Боевая закалка
нужна зоотехнику.
Оппортунистов
бита карта!
В работе,
в учебе
будем метки!
Даешь четвертый ударный
квартал
Третьего года пятилетки!

* * *

Толя!

Сегодняшнее письмо посвящу рассуждениям о твоих рассуждениях. А порассуждать есть о чем.

О твоем «генеральном плане».

Прежде всего и главным образом меня удивляет одно: план твой рассчитан на 10 месяцев (30 декад), а хочешь охватить ты в нем почти весь круг знаний современного человека. Неужели ты сможешь в один год изучить и ленинизм, и марксизм, и материализм, между прочим, диалектический, а не «деалектический», и историю партии, и физику, и математику, и астрономию, и т. д., и т. д., вплоть до стенографии? Дорогой това-

рищ! Это программа не на 10 месяцев, а на 10 лет. Ну пусть я не так понял: пусть это нечто вроде пятилетки твоей учебы. Но и тогда такой план остается курьезом. Я вижу в твоем перечне: астрономию (!), философию (?) и даже логику — одним словом, «знай наших!». Бездны премудрости и учености горы. А между тем жизнь дергает тебя за рукав и хочет обратить твое внимание на иные, более реальные знания.

Ты собираешься работать в колхозе,— а знаешь ли ты, что такое черный пар? Знаешь ли ты, для чего, чем и как протравливать семена? Знаешь ли ты, как установить сеялки на норму высева?

Как строится триада Гегеля, тебя не спросят, а об этом могут спросить каждый день. Что же ты ответишь? Будешь хлопать глазами или посмотришь на Большую Медведицу? Нет уж, лучше оставим астрономию, бог с ней. Плохая это вещь — составлять программу учебы по каталогу Тургеневской библиотеки.

В твоем «генеральном плане», несмотря на большое место, отведенное политике, видна определенная аполитичность. Науки представляются какими-то изолированными предметами, которые нужно изучить. Зачем? Чтобы стать ученым? Развить «вум»? «С ученым видом знатока коснуться до всего слегка»? Нет, товарищ, не так. Ты сначала должен поставить вопрос: «А что нужно знать мне, как строителю социализма, живущему в двадцатом веке и пока в Большом Сухаревском переулке, но неизвестно куда впоследствии попадущему?» И прежде всего надо открыть глаза себе. Не думай, что ты зряч. Ты видишь эту фабрику? Ты думаешь, она стоит? Нет, она идет! Куда идет? По каким путям? Все это надо знать и видеть, надо усвоить, чтобы определить свои пути.

Короче — изучай политику. Но мало одной политики. Мало сказать колхознику, что выдвинут принцип сдельной работы в колхозах, что этот вопрос имеет громаднейшее значение для хозяйства колхоза. Нет, ты покажи и расскажи, как на эту сдельщину перейти, как выработать нормы выработки, как учитывать и оплачивать труд, и т. д. и т. д.

Короче — политика должна связываться с техникой.

Невозможно хорошо усвоить правильную систему земледелия, если ничего не знаешь о бактериях. На по-

мощь политике с техникой должна прийти наука. Как живет растение, основы его физиологии, как живут животные и человек, что за мир находится вокруг них, что говорит нам рефлексология — эта современная психология, каковы законы наследственности, каков путь развития органического мира от белка до телка и т. д., и т. д., и т. д. — вот тот круг вопросов, который необходимо усвоить, чтобы правильно поставить даже свою практическую работу.

Но мало одной политики с техникой и наукой. Когда будет выстроено такое солидное здание из кирпичей всевозможных знаний, надо построить к нему крышу, чтобы здание было закончено, чтобы дождь не мог его попортить, чтобы было оно связано в одно единое целое. И это дает изучение диалектического материализма. Нужно проработать углубленно сочинения Энгельса, Маркса и Ленина. Вот в таком виде должна представляться программа учебы современного человека.

Она отличается немного от твоего «генерального плана», не правда ли?

Я вызываю

Меня
с нетерпением
ждет страна,
Послать меня хочет
туда,
Где плачет
дисковая борона
И грузно
идут стада.
Там в поле
на́ солнце
искрится сталь...
Комбайны
ползут стоногие...
А у меня
еще два «хвоста»:
По анатомии
и гистологии.

А я
большевистские
темпы сдал,
К учебе
иемиого остыл —
Сегодня
иа двадцать мииут
опоздал,
Вчера
полчаса пропустил.
Так иет же!
Пламенем
жжет меия стыд,
Гудки пятилетки
взывают.
Я
ликвидирую
эти «хвосты»,
Ликвидирую
и вызываю.
Я вызываю
своих друзей,
Таких же, как я,
«хвостатых»:
— Давайте
в старииный
сдадим музей
Обломовских темпов латы! —
Я слышу,
как бурей
шумит иститут
И гул раздается
ответиый:
— Товарищ!
Дии пятилетки идут,
Октябрьские
дуют ветры.
Заводы грохочут
в отблесках сизых.
Нервы натяиуты,
как струиа.
Товарищ студеит!
Прииимай же вызов,

Тебя
с нетерпением
ждет страна!

* * *

Дорогой братень!

Получил твое письмо от 29/IV только 9 мая. Уже поздно было слать тебе в Москву ответ, да и все равно я посоветовал бы тебе ехать в деревню. О чем я буду писать? Отвечу прежде всего на те «роковые» вопросы, которые ты задаешь в последнем письме. Дорогой товарищ! Ты спрашиваешь: как можно изучать политику по заданиям? Разве может прийти такой момент, когда можно будет сказать: да, я знаю политику?

Товарищ дорогой! Ты путаешь. Во-первых, не будем говорить о политике «вообще», речь шла об определенной теме: «Задачи комсомола в деревне». О ней и будем говорить. Вопрос, стало быть, стоит так: можешь ли ты в один прекрасный день, проработав эту тему, заявить, что теперь ты совершенно ясно представляешь себе задачи комсомольской организации в деревне, что ты абсолютно хорошо разбираешься в этом вопросе? Да, конечно, можешь! Какие тут могут быть сомнения? Правда, завтрашний день может принести новый лозунг, новое конкретное предложение, но, читая газеты, ты их будешь приплюсовывать, и не приплюсовывать нельзя, иначе ты безнадежно отстанешь. Газеты читать необходимо — это положение не нуждается в доказательствах, но что-то такое, какую-то основу нужно иметь, для того чтобы по-настоящему высосать газету, чтобы извлечь из нее пользу. Для того, кто не обладает необходимой какой-то основой политзнаний, действительно газета скучна и не нужна, как не нужны пули для того, кто не обладает револьвером. Для одного эти пули волнующи и могущественны, он чувствует в них огонь и борьбу — для другого это просто кусочки металла, не годные никуда. Поэтому советую: приобрести револьвер! Выработай в себе эту основу основ, и тогда каждая строка будет тебе казаться пулей. Об том-то и шла речь. Надо усвоить ее, надо усвоить как можно лучше и крепче. Надо составить тот конспект, о котором я тебе говорил. Иные говорят: я знаю, но не могу объяснить. Чудаки! Это

все равно как если бы они видели в комнате черта; ибо это не знание, а галлюцинация. Нет, только тогда ты знаешь, когда можешь объяснить, и только тогда знаешь толково, когда можешь толково объяснить. Вот почему такое значение я придаю конспекту.

Дальше — я вижу, ты скорей хочешь взяться за изучение диамата; дескать, что такое стены, их можно строить вечно. Разумеется, вечно. И дом может иметь и такой вид:



И такой:



Но что ты скажешь, если он будет иметь такой вид?



Ведь ои все равно ие жилой, в ием жить нельзя, хотя и имеется крыша — диалектический материализм. Отсюда вывод: прежде чем начинать строить крышу, следует построить хотя бы одии этаж. Таким единым этажом является знакомство с основными законами физики и химии, владение хотя бы средней математикой, знакомство с биологией, генетикой и теорией Дарвина, ясное представление о том, что такое класс и классовая борьба, в чем заключается материалистическое понимание истории. Совершенно очевидно, что пока этого у тебя иет. Напрасно ты представляешься учеиым и загибаешь в своих письмах разные умные словечки, вроде то-

го, что к «изучению психологии ты подойдешь с биологической точки зрения и познакомишься с рефлексологией и евгеникой». Рефлексология еще так, но евгеника, дорогой товарищ, не имеет никакого отношения к психологии. Это учение об улучшении человеческого рода.

Остался еще один «роковой вопрос». Почему я не указал в своем письме место «очеркам»? Я не упустил этот вопрос, а нарочно обошел его. Может быть, не один пуд соли надо мне съесть, прежде чем указывать, как лучше и продуктивнее заниматься литературным творчеством и как сочетать его с образованием и практической жизнью.

Вот и все, что хотел сказать по поводу твоих «неразрешимых» вопросов.

* * *

Нет,
не сравниться
с нарядом знамен
Ноябрьскому
небу сизому.
На стиснутых улицах
столько колонн,
Столько людей
нанизано!
Сегодня
автобус,
трамвай,
грузовик,
Камень,
асфальт
и бетон
Имеют
октябрьский вид,
Окрашены
в праздничный тон.
Но даже
и здесь,
где площадь гудит,
Классовая зоркость —
не уходи!
Но даже и здесь,

среди гула и шума,
Невольно приходят
тревожные думы:
Товарищ!
Ты видишь
октябрьский флаг,
На нем
золотые
слова горят,
За ним,
быть может,
укрылся враг!
Он, может быть, с нами
шагает в ряд!
Товарищ!
Зорче
гляди вокруг,
Отдайся
тревожной заботе.
Не здесь,
не здесь
узнается друг,
А в будничной
нашей работе.
Товарищ,
глядя в микроскоп,
Углубившись
в рой инфузорий,
Надо чувствовать
поросли
новых ростков,
Надо видеть
Октябрьские зори.

* * *

Отвечаю на твое письмо о любви.

О черемухе. Мой ответ: да, без черемухи! Мне скажут: неужели ты за упрощенство в любви? Нет, и не за упрощенство. Но эстетическую любовь я вижу не в том, в чем видишь ее ты.

Дело не в том, что любви отводится слишком много места — так и надо отводить ей много места, вообще любовь стеснять не следует.

А в чем же?

А в том, что любовь подчас расценнвается как нечто высокое н прекрасное ие сама по себе, а по тем аксессуарам, которые ей сопутствуют. Если мужчина весной, когда цветет сирень, катается с жеищнной в лодке и целует ее, то это поэзня. А когда мужчнна, шлепая по грязн калошами, подходит к реке, где женщниа стнрает грязное белье, целует ее — то фи! — это проза!

Так н черемуха. Почему имеино черемуха, а не лимон, не апельсин, не жареная капуста? Ведь они пахиут не менее хорошо. Меия злят всегда такне вот сторонницы любвн «с черемухой», которые не вндят всего велнчия н красоты любви самой по себе, любви у грязного корыта, у прнмуса, любви без всякой черемухн, без сиренн, без акацни, но хорошей большой человеческой любви.

Да существует ли она?

Любовь *существует* н бродит между иамн, она прячется в складках платья и в уголках губ, оиа приковывает глаза к чьнм-то окнам, оиа сжнмает сердце тоской, как обручем, она радостно закручнвает человека, как вьюгой. В общем:

Эх любовь, ты любовь,
До чего доводншь.
Хлеба крошкн не берешь,
Как шальная, ходншь.

Собнрай частушкн, в ннх очень много хорошего.

Но любовь ие вспыхнвает сразу, как огоиь, иет, она растет, как вишня, как молодой зверек. У кого в душе этот зверек не рождался? Рождался у всех. Но кто сумел его вырастнть? Ну-ка? Оглянись кругом, найдешь лн? И вот в чем дело: мы не умеем н ие хотнм любовь воспнтывать. Мнлый, жалкнй зверек рождается в иашем сердце, он беспомощен еще, он барахтается н погнбает через две недели. А миогне даже берут его за шиворот и с наслаждением топят, как котенка: «Что за сеитнментальность!»

Человек прежде всего хочет есть, затем уже любнть. Тяжелый закои, который влечет к тому, что люди привыклн душнть в себе хорошие, едва распускающиеся чувства н ставнть нх на три ступеии инже своего материального благополучня. Этот закон отмеиен еще 7 иоября 1917 года.

И вот мне хочется сказать всем людям: давайте не душить в себе этих зверей! Давайте их воспитывать, какие бы маленькие они ни были, и посмотрим, что из них получится.

Девушка улыбнулась около вас и скрылась в воротах МГУ. Можно ее разыскать? Можно. Надо только сказать себе, что эта улыбка, это милое выражение прищуренных глаз, как пчелиное жало, ранившее сердце,— это не пустяк. Это же молодой зверек, зверушка, капленок, который может вырасти; а он погибает, конечно, через три дня, если не обратить на него внимания. Он подохнет, и они сотнями дохнут!

А у меня вот, когда подохнет такой зверек, я злюсь на себя, я знаю, что что-то хорошее погибло. Я не знаю, как это передать, чтобы ты понял, но, по-моему, если кому-нибудь понравилась женщина, это обязывает его к чему-то, он обязан продолжать. Преступления против любви никогда не прощаются (Чехов).

Ну вот, все это бессвязно, но, думается мне, понятно,— надо уметь растить любовь.

Один к одному

Бывало,
студент
пройдет стороной
И скажет
этак рассеянно:
— Вот тут бы, мол, диском,
а тут бороной...
А поле уже посеяно.
Бывало,
студент
поглядит за столбы,
Заглянет
за две перекладины:
— Да, мол,
у вас хороший бык...
...А бык-то, выходит,
кладеный.
Теперь
мы изъездили

весь Казахстан
И сторону
знаем кавказскую,
И этн рассказы
у вас на устах
Нам кажутся
детскою сказкою.
Теперь
недаром: один к одному!
Снямют
зарн нзлучины.
Овечье «бя»
н коровье «му»
До точки
намн изучены.
Недаром
мы гналн стада за версту,
Недаром
в навозе маралнсь,
Под теплою
шерстью
слушали стук
Артерни феморалнс *.
Недаром
над нами
броднла луна,
Лучамн беля, как известкой.
Она нам — корова,—
как песня родна.
И как свон пальцы
известна.
По снзому небу
плывут облака.
Корова
жует
н думает:
«Сердитые люди
отнялн телка,
В овсяной соломе мало
белка,

* Бедренная артерня.

И жизиь моя
очеиь угрюмая».
Я запахом талого сиега дышу,
Я зиаю
тоску коровью,
И я
ие чериилами
это пишу,
А собствеииой сердца
кровью.
И я
говорю:
«Растай, тоска.
Коровья печаль,
затихии.
В вузе,
где мелом
стучит доска,
Учится зоотехиик.
Ои пишет коиспекты,
листает тома,
Льет кислоту в бюретки,
Ои готовится
силу ума
На службу
отдать пятилетке.
И ои придет
среди пыльиых степей,
Среди леска поределого
Строить
силосиые башии тебе
И заиово
мир переделывать».

О счастье

Из дневника

Вчера Владимир, воспользовавшись тем, что мы иа два часа оказались в выиуждеиием безделье, завел длиииый разговор о своих «сомиеиих». При этом были вытащены иа белый свет вообще довольио известиые рассуждеиия о том, что живем мы только раз и субъек-

тивно мир существует только в каждом из нас и в силу этого должен быть максимально использован для личного счастья. «Ты один, у тебя одна жизнь — ищи для себя большего счастья, везде делай так, чтобы тебе было как можно лучше».

Следовательно, всякая самоотверженность ради интересов класса и ради лучшего будущего неоправданна. «Все равно из тебя к тому времени лопух будет расти».

Опасность подобного философствования состоит в том, что в нем довольно искусно завуалирован переход от верных исходных положений к вполне ошибочным выводам, и это сопровождается видимостью защиты наиболее глубоких, интимных, коренных интересов отдельного человека.

Ну, например, никто и не отрицает, что живем мы только раз и нужно как можно полнее использовать эту жизнь. Все это так. Но из этого совсем не следует, что нужно стремиться скорее утащить краюху у другого или всякими правдами и неправдами приобрести побольше денег и каждый день устраивать пирушки и ходить по ресторанам. При подобном образе действий человек сам себя обкрадывает, обрекая себя на жалкое, по сути дела, существование. Разве развлекательная жизнь, наполненная гулянками, бездельем или сытым обывательским довольством, может доставить человеку сильные переживания? Разве такое употребление времени обеспечивает наиболее полное использование этой нашей единственной жизни? Разве мало примеров, когда такая жизнь в конечном счете опустошает человека и когда умные люди чувствуют глубокую неудовлетворенность таким образом жизни? Все средства развлечения привлекательны только вначале, а при повторениях становятся однообразными, как степная дорога. Я не за аскетизм, развлечениями нельзя пренебрегать, это все хорошо, но нельзя, чтобы это было основным содержанием жизни. Пусть это будет, когда возможно, дополнительным ее украшением.

Мы живем только раз, и нужно прожить жизнь наиболее счастливо. Но что такое счастье? Счастье не существует само по себе. Для счастья, для самого личного счастья человека необходима горячая привязанность его к какому-то делу, к какой-то проблеме, к какой-то «идее».

В самом деле, когда человек счастлив? Когда он достигает того, чего хочет. Когда человек очень счастлив? Когда он достигает того, чего очень хочет. Сила переживания зависит от силы желания. И если человек страстно желает достигнуть какой-то цели, если это желание не дает ему покоя, если он ночи не спит с этой страстью,— тогда удовлетворение желания приносит ему такое счастье, что весь мир кажется ему сияющим, земля поет под ним.

И пусть даже цель еще не достигнута — важно, чтобы человек страстно желал ее достигнуть, мечтал, горел этой мечтой. Тогда человек развертывает свои способности, азартно борется со всеми препятствиями, каждый шаг вперед обдает его волной счастья, каждая неудача стегает, как бич, человек страдает и радуется, плачет и смеется — человек живет. А вот если нет таких страстных желаний, то нет и жизни. Человек, лишенный желаний,— жалкий человек. Ему неоткуда черпать жизнь, он лишен источников жизни. И никакие развлечения не смогут заполнить пустоты его существования.

Совершенно прав Писарев, когда говорил, что величайшее счастье человека состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно без колебания безраздельно посвятить себя.

Скажут: можно увлечься и реакционной идеей. Конечно, можно, и для капиталистов, например, такое увлечение вполне естественно. Для людей же, не связанных кровно с капитализмом, такое увлечение противоестественно, хотя и встречается. Противоестественно потому, что нормальному человеку трудно привязаться к делу, ходом истории обреченному на гибель.

Кроме того, приятно посвятить себя делу, которое несет в конечном счете обогащение жизни всего человечества. Только дегенераты могут радоваться и способствовать делам, от которых чахнут дети и тускнеют глаза взрослых людей.

Таким образом, малоуважаемый путаник Володя, **я готов бороться за лучшее будущее человечества не в силу аскетического самоотвержения; эта борьба сделает мою жизнь наиболее полной и богатой, потому что я испытываю живой интерес к ее целям.** А то, что другие люди потом, когда из меня будет лопух расти, неплохо

отзовутся обо мне, может только поддержать мон сегодняшние прнвязанностн.

Баллада о простоте

Однажды мие встретился старый поэт —
Звезды ярки, н ночь тепла,—
И пока глаза не раскрыл рассвет,
Беседа наша текла.
И он сказал: «Не такне, мой друг,
Я раньше пнсал стнхи —
В них слышалнсь лнры тончайший звук
И рокоты всех стихий.
Я был от вершины уже иа вершок
И был знаменнтым почтн,
Когда однажды рабочнй — дружок
Меня попроснл: «Прочти!»
Строкамн бушуя, словами звеня,
Я в рнфмах свонх закнпел.
Он, молча склоиившнйся, слушал меня,
Ударник н член ВКП.
И когда, прочнтавши сонетов пяток,
Хотел его одой донять,
Он тихо сказал мне: «Довольио, браток.
Я вижу: мне ие понять».
И он смущенно пошел от меня,
И взор его глаз потух.
И только долго была вндна
Рубашка его в поту.
И понял я в еднный мнг,
Пока глядел ему вслед,
Что все мон кипы иаписанных книг —
Тяжелый, иенужный бред.
Так что же я сделаю? Как снесу?!
Я сгорел от стыда...
И вот с тех пор зарубнл на носу:
Да здравствует простота!
О нет, конечно, не та простота,
Что хуже воровства,
Нет, не такая, а просто та,
Которая с жизнью росла.
Она проста, она глубока

И вместе с тем строга.
Она человека берет за бока,
Как быка за рога».
Поэт окончил. Его рассказ
Я как завет берегу.
И пусть не срывается вычурных фраз
С моих еще юных губ.

Уральская весна

* * *

Звонок зазвенел,
паровоз заорал,
Бригада студентов —
мы мчим на Урал.
Вагоны набиты,
и полки тесны.
Мы — солдаты
второй большевистской весны.
Грустить
или плакать
нам нету причин.
Мы спорим,
смеемся,
поем
и кричим.
О чем-то,
о чем-то
поют буфера?
О том, что готовы
и ждут «буккера».
По чем-то,
по чем-то
грустит чернозем?
По умным
по книжкам,—
а мы их везем.

* * *

Итак, мы едем. Паровоз мчит нас в Уральскую область. Нас пятеро студентов-мясников, пятеро комсомольцев, пятеро молодых ребят. У нас в сердцах — ненасытная жажда действий, а в карманах — командировки Колхозцентра.

Мы разговариваем о будущей нашей работе. Стараемся представить ее конкретнее. Один из нас убеждает крестьян вступить в колхоз. Другой изображает

несознательную бабу. Увы, «баба» никак не желает вступить в колхоз, она забивает красноречивого агитатора.

«Где керосин?» — спрашивает она агитатора, и агитатор вспыхивает, как керосин. «Где полотно? — спрашивает она, и агитатор бледнеет, как полотно. Общими усилиями мы приходим ему на выручку. Керосина добывается сейчас не меньше, а больше, чем в прежние времена. «А где же он?» — «А вот он, видишь, клокочет в цилиндрах проезжающего пашней трактора! Он налит в баках пролетающего аэроплана. Для избы: для лампы, для примуса — керосин оставляется тоже, но оставляется в обрез, и потому удивительно ли, что выходит заминка? Но эта заминка нам не страшна, раз керосин все-таки есть».— «А мануфактура?» — «А если у тебя хозяйство погорит,— отвечаем мы вопросом на вопрос,— что ты будешь делать? Будешь ли ты сколачивать избу или купишь сарафан? Избу? Так делается и в стране. Сначала мы строим самое главное. Вот мы построим машинный завод, а на нем сделаем трактор, а трактор дадим в колхоз, колхоз даст тройной урожай льна, и полки магазинов будут ломиться от мануфактуры. Так-то!» «Баба» сбита, «баба» не знает, что и возразить. «Она» старается переменить разговор и жалеет, что в Москве не успела побриться. Мы коллективно утешаем ее и приступаем к следующему вопросу, стоящему на повестке дня. Не помню, были ли это котлеты или колбаса. Кажется, колбаса.

А поезд между тем нас вез и вез.
За окнами
видно,
что ветер не с юга.
За окнами вьюга,
вьюга,
вьюга...
За окнами
тихо пейзажи мелькали,
Заводы и копи огнями цвели.
Здесь марганец,
магний,
железо
и калий,

Селитра
и кальций
идут из земли.

Мы обсудили работу МТС, работу бедияцких групп в колхозах, обращеиие о контрактациях и прочее. В общем, было очень интересно. Куда девалась «дорожная железиая» скука, по остроумиому выражению Блока! Так мы сидели в вагоие, смеясь и споря. Наконец вечером в окиа хлынули строения стаиции.

Свердловск! Мы въехали в этот достопримечательный город четырнадцатого, в четыре часа дия. Таким образом, мы потратили на путешествие шестьдесят четыре часа и два часа потеряли благодаря вращению Земли. Черт бы побрал проклятую вертушку! Людям дорога каждая секуида, а оиа вертится.

Мы прожили в Свердловске два дня. Жили мы в Доме колхозиика, бродили по улицам, побывали иа III Всеуральском съезде Советов. Два часа ссорились в Уралколхозсоюзе, который никак не хотел, чтобы мы ехали вместе: «Нет, мы ие так богаты людьми». Нас рассовали по различным районам. Я еду в райои с экзотическим именем Еманжелии.

Итак, мы едем...

Этими словами, которыми я иачал письмо, я его и заканчиваю. До иескорого свидаиья.

* * *

Вечер. Я сижу в Емаижелинке иа отведенной мне квартире, озабоченный мыслями о близости весны. Хозяйка возится у печки и ие переставая рассказывает про соседа:

— Ни земли иикакой не ареидовал, ии мельиицы ие держал... За что раскулачили человека? Да разве ои кулак был? Честный был работиик.

За окном хлопьями падает сиег. Стучат молотки в кузнице. Все в порядке — зима продолжается.

— Или бы торговал чем, или бы ростовщиком был, а то как есть иичего.

Хозяйка нагибается и пропихивает ухватом в печь какой-то чугун.

— Или бы отец жил богато, или дед, а то иичего этого не было. Просто придрались к человеку.

Молчанне. Меня наконец заинтересовала эта жертва раскулачнвания.

— К чему же прндрались? — спрашнваю я.

— Да батрака держал,— сказала простодушно старуха и, увидев по выраженню моего лица, что этот факт кардиально меняет дело н что появившееся было сочувствие мое к «несчастной жертве» мгновенно улетучилось, жалуясь, продолжала: — Да ведь тогда же не запрещалось иметь батраков, ведь все ж имели... Вон и Степан Агафоныч имел батрака, да в колхозе сейчас за мнлую душу.

Я задумываюсь. Да, кулаков тут было много, н чувствовали они себя здесь крепко.

Коллективнзацию в Еманжелннке долго не могли сдвннуть с двадцати восьми процентов. Многне середняки уже былн в колхозе, а беднота шла туго. Крайняя улнца, так называемый Вокзал, населенная сплошь беднотой, в колхоз не вступала. Никакая агитация не помогала, а надо сказать, что агитаторам тут простор. Онн могут сколько угодно говорить про индустриалнзацню, тракторизацию, машинизацию — у крестьян не появнтся скептической усмешки. Этн слова здесь осязаемы, они виднмы и особенно слышимы, так что хоть уши затыкай. Гигантские гусеницы «катерпиллеров» ползают между селами. Всего за сорок верст раскннулась, поражая размерами своих корпусов, громадина Челябтракторостроя. Да, агитаторам тут раздолье. И все же, несмотря на это, беднота не трогалась с места. В чем секрет? Секрет этот еще девяносто лет назад был открыт Карлом Марксом и называется классовый антагонизм. Классовый антагоннзм мешал бедноте идти в колхоз, где благодаря близорукости местных работников засели кулаки. «Где кулак? Какой кулак? — говорили они. — У нас кулаков в колхозе нет!» Вместо кулака они видели ладонь, протянутую для дружеского рукопожатия, и приннмали ее, не долго думая.

Яков Чернышев состоял членом колхоза. Яков Чернышев — кулак, об нздевательствах которого над батракамн ходят рассказы по всей Еманжелннке.

Однажды работнნца, жившая у него, уроннла ведро в колодец.

«Достань ведро!» — велел он.

Болезненная девушка, дрожа, стояла у края колодца, не решаясь спустнться. Но хозянн был неумолнм:

«Раз уроннла — доставай!»

Работннцу на веревках спустнлн в черный провал, н действнтельно ведро было спасено. Но с работннцей, вылезшей нз колодца, случнлся прнпадок, н ее принуждены былн свезтн в больннцу. Там она умерла.

А Чернышев ходнл по деревне в качестве колхозннка, да еще с папкамн под мышкой — он был на канцелярской работе. Я напнсал «ходнл», потому что позавчера Чернышев н еще четыре кулака былн вычнщены нз колхоза. Онн гляделн как затравленные волкн в чаще дружно поднявшнхся протнв ннх рук. К честн комсомольской ячейкн надо сказать, что ннNцнатнва чнсткн нсходнла от нее. Комсомольская ячейка первая заннтересовалась разговорамн на селе о Чернышеве. Только тогда местные работннкн заметнлн наконец, что это не ладонь, а кулак, к тому же злобно сжатый.

Уже в день чнсткн было подано несколько заявленнй в колхоз, а затем выпал снег маленькнх белых лнсточков заявлений — хорошнй подарок второй большевнстской весне.

«Вокзал» зашумел, заволновался. Одна за другой его хаты сталн прнцепляться к колхозному поезду. Счастлнвого путн! Кулак был побежден. Но я знаю, что эта победа еще не окончательная... Мне помннтся случай, о котором я слышал в Еткуле от одного колхозннка, прежде батрачившего в этом селе.

«Хнтрый был, сволочь,— рассказывал он,— небось выпнсывал две центральные газеты н чнтал нх целый день. Он первый смекнул, в чем дело, н удрал в город заблаговременно».

Этот случай у меня постоянно в памятн. Трудно лн раздобыть документы? Мне жаловался председатель Белоусовского сельсовета, что ннкому не может довернть печать н всегда носнт ее с собой. Оставь кому-нибудь, так тебе сейчас такнх справок понастряпают, что любо-дорого.

Мудрено лн кулаку устронться? Мне представляется: огромный зал, заполненный людьмн. И над людьми, потнымн, усталымн, но вннмательнымн,— тнхнй прерывающнйся голос: «...хозяйство было бедняцкое, по-

том, конечно, пала лошадь, пошел, конечно, на завод, работаю, конечно, год три месяца...» Шелест, шепот, внимательные глаза,— нет, не дано им проникнуть в сердце человека! И накладывается широкая резолюция поверх лиловых кривых букв: «Принять в кандидаты ВКП(б)».

Товарищи, оглянитесь, не с вами ли вместе он работает? Классовая зоркость, неослабляемая зоркость нужна нам каждую минуту!

Где я! Что со мной!

Ты думаешь: «Письма
В реке утонули,
А наше суровое
Время не терпит.
Его погубили
Кулацкие пули,
Его засосали
Уральские степи.

И снова молчанье
Под белою крышей,
Лишь кони проносятся
Ночью безвестной.
И что закричал он —
Никто не услышал,
И где похоронен он —
Неизвестно».

Товарищ! Не верь же
Вороньему карку,
Отбрось ворожеи
Седые приметы.
Купи на Кузнецком
Уральскую карту,
Вглядись в разноцветные
Миллиметры.

Возьми проследи
Оренбургскую ветку.
Ты видишь, к востоку

Написаио: «Еткуль».
Написано: «Еткуль»,
Поставлеиа точка.
И сани иесутся,
Скрнпя полозьями,
И вьюга махиула мне
Белым платочком —
Мы сталн тут с иею
Большнмн друзьямн.

* * *

И вот я работаю в Еткуле. Что такое Еткуль? Это прежде всего сеть прямоугольных улиц, так дворов восемьсот, опушенных колючим снегом н украшениых деревяннымн ставнями. Затем — это четыре тысячн сердец, это восемь тысяч разиоцветиых глаз. И иакоиец, н это самое главиое,— это пароход, плывущнй к соцналнзму. Да, тот самый пароход, который, по мистеру Троцкому, иельзя было создать нз сотни рыбацкнх лодок. А вот он и создан, этот пароход, и виииты его заработалн!

Дышу я здесь в атмосфере всеобщего уважеиня. Называют меня не нначе, как «товарнщ агроном», и считают спецналнстом по всем отраслям сельского хозяйства. Первые днн я счнтал своим долгом объясиять каждому, что я-де не совсем еще агроном и что, будучи... н т. д. н т. п., ио теперь отброснл ложную скромность.

Четыре дия тому иазад мне были торжествеиио вручены курсы колхозников-жнвотноводов. Курсанты съезжались из всех пятидесяти шести колхозов и деловито рассажнвалнсь, расстегивая полушубкн, отряхнвая седниу снега с черных бород.

С завом Бобылевым мы пришли на открытне курсов, пронсходившее в помещеиии еткульской школы.

Курсанты чинно уселись рядамн, еле втнскивая свон большне тела в детскне парты. После очень длиниого н не меиее путаиого доклада местиого обществоведа взял слово я.

— До коллективизации мы — студенты сельхозвузов, агроиомы, зоотехники — былн бессильиы. Разве крестьяннн, бедняк н середияк, ие понимал, что свет-

лый, чнстый н сухой хлев лучше дырявых плетней? Но разве в силах он был оборудовать такой двор? Разве крестьянни, бедняк и середняк, не мог понять, что межа — рассадник сорияков н обнталнще вредителей? Но как же ниаче отлнчнть свою пашню от пашнн соседа? Мне рассказывал однн старый агроиом, как он в одной деревне чнтал лекцин о выращнванин огурцов. «Ну и что же, последовал кто-ннбудь вашнм советам?» — спроснл я. «Как же,— говорнт,— я сам вндел, у попа хорошне огурцы выросли». (Смех). Вот, товарищн, куда шлн знання агрономов. Ведь только сейчас агрономня может идти рука об руку с крестьянамн. Нам предстонт большое дело, товарищи. Давайте же вооружаться зиаинями, чтобы использовать нх в хозяйстве.

Я все же боялся. Я думал, что ехндные мужнчкн собьют меия на какой-нибудь запашке, вытащат какую-ннбудь блоху нз седины своей практнки. Однако нет, мой авторитет все время держался на должной высоте. Правда, помогло и то, что курсы вел я не однн, а с другнм агрономом, уже настоящнм, которому я постарался выделнть самые каверзные вопросы. Это был каштановый старнчок, старавшийся ходнть как можно прямее н говорнть как можно внушнтельнее. Он так сморкался, будто трубнл в трубу, а носовой платок развертывал, как зиамя, н после этого подавал снгнал к иачалу занятий. Я держался проще, душевиее, говорнл, пожалуй, жнвее, и мон занятня любнлн больше. Я не давал готовых рецептов, готовых правнл, а изложнв какое-нибудь агрономнческое правнло, ставнл его на обсужденне. Высказывалнсь «за» н «против», часто находнлнсь уже нспробовавшне его на практнке. Затем я говорнл, чье мненне сходнтся с мненнем науки, и этого момента всегда ожндалн с нетерпением. Сначала я огранннчнвался такнмн разговорамн, а курсанты записывалн, как умелн. Но после того как, просмотрев одну тетрадь, я прочел в ней, что свиней хорошо кормнть сырой картошкой, в то время как я говорил обратное, я иемного измеиил метод. В конце каждого занятня я стал днктовать вкратце то, что мы прошлн за заиятие.

Труднее мне было вести курсы первые дни. Дело в том, что, как только я прнехал в Еткуль, меня схватнла за горло ангина. В первый день моего прнезда я ввалнлся в отведенную мне квартнру вечером, когда

керосиновые лампы в избах уже распространяли свой свет и благоухание. На столе кипел самовар, за которым одиноко сидел человек, пивший чай с конфетами. Конфеты он клал прямо в стакан и размешивал их ложечкой. Я подсел к столу, и тут первый стрептококк ударил меня по голове. Я почувствовал боль в горле. Ради вежливости надо было сказать несколько слов незнакомцу. Он оказался из Челябинска. Я спросил, что у них там идет в гортеатре, и сейчас же раскаялся, ибо собеседник, оживившись, длинно и нудно начал пересказывать какую-то пьесу. Между тем голова у меня все больше и больше начинала шуметь и раскаляться. Как только занавес был опущен и зубы разговорчивого челябинца защелкнулись, я стал укладываться спать. Собеседник остался допивать чай. Я закрыл глаза, но керосиновый свет все равно проникал сквозь веки, и чем плотнее я их сжимал, тем сильнее раскалялся зрачок. Прошло неопределенное количество времени, в течение которого я пытался бороться с жаром зрачков. Наконец я раскрыл глаза, чтобы загородить чем-нибудь лампу от себя. Темнота царила кругом. Окна, закрытые ставнями, не пропускали даже капли лунного света. В углу тихо раздавался храп моего челябинского собеседника.

...Ангина все-таки честный боец, она лежачих не бьет. Наутро я встал почти здоровым, и, если бы пролежал день, все было бы хорошо. Но курсы ждали меня. Сто с лишним ушей было открыто для принятия премудрости. Говорить приходилось по десять часов в день, ангине не стоило большого труда сшибить меня прямо в постель. Так единоборствовал я с нею пять дней, пока не победил. Теперь я чувствую себя отлично и на аппетит не могу пожаловаться. Скорее будет жаловаться он на меня, что я удовлетворяю его не полностью. Насчет еды здесь скудно.

Многое можно было бы написать, но всего не упишешь в одном письме.

Поэтому скажу в общем — в общем хорошо! Зори цветут малиновыми кустами, и солнце дисковой бороной ходит по небу.

Ожидайте дальнейших писем так же, как и я ожидаю ваших.

* * *

Сегодняшнее письмо мое будет о молодости, стуке и шуме, о веселых глазах и упрямых головах, о кусочках картона, которые люди берегут, как сокровище, хотя они не дают им ничего и только накладывают на них обязательства быть первыми в труде и в борьбе и не знать усталости. Короче: я буду писать о еткульских комсомольцах.

В Еткуле две ячейки ВЛКСМ: одна сельская, другая ШКМовская *. В ШКМовской ячейке сорок человек, хорошие и дружные ребята. Даже недурно работают, создали в Бектыше колхоз, взяли над ним шефство, устраивают субботники по сортировке семян и т. д.

Но у шекамят был один очень серьезный недостаток. На первом же собрании я задал вопрос:

— А что такое правый уклон? Что говорили правые?

Гробовое молчание. Комсомольцы-шекамята были просто-напросто политически безграмотны. Лишь одна комсомолка нарушила молчание и прерывающимся голосом сообщила, что по обществоведению они это прорабатывали и что правые говорили что-то об индустриализации: не то чтобы ее уменьшить, не то чтобы увеличить.

Как могло так получиться? У шекаэмовцев было обществоведение, у них был кружок текущей политики. Но все это было передано в одни руки — руки преподавателя обществоведения Никиты Петровича. Никита Петрович — бывший комсомолец, переданный в беспартийный актив, молодой человек приятной наружности. Он обладал замечательной способностью (увы, не редкой в наше время) говорить сколько угодно и на какую угодно тему. Эту его способность ценили, и он был постоянным докладчиком на всех революционных праздниках и в торжественные дни. Можно прослушать его два часа и после удивленно спросить себя: «О чем же он говорил?» Да ни о чем в общем, перескакивал ловко с коллективизации на Карла Каутского, а с него на акул мирового империализма. Не оскорбляйте

* ШКМ — школа крестьянской молодежи.

воду. Это ие вода. Вода освежает человека, а такие речи расслабляют. Вода делает человека бодрым, а от таких речей хочется спать. Мудреио ли, что шекамята ничего ие усвоили из его уроков обществоведеиия? Мудреио ли, что кружок текущей политики мало кто посещал, а кто и посещал, то скучал иа заиятиях? В сущности же, политика — это самая увлекательиая вещь. Без знания ее человек слеп.

Первым долгом комсомольский политкружок я отделил от кружка текущей политики. Предоставив последний в бескоитрольиое ведеиие Никиты Петровича, комсомольский политкружок взял иа себя.

Первое заиятие посвятили мы вопросам коллективизации, ликвидации кулачества и правому и левому уклонам. Мои выступлеиия отиосились к выступлеииям слушателей, как одии к одиому. Я ставил вопрос, излагая иногда даже иевериую точку зреиия, чтобы ее разбить. Ребята обсуждали, спорили и часто сами приходили к правильиым выводам. К политзаиятиям у иих появился иитерес.

— Ну так вот,— говорю я.— Зиачит, вы зиаете теперь, что говорили правые, что говорили левые, и видите, что оии говорили противоположиое одио другому. Зиачит, оии должиы сильио ссориться между собою?

— Коиечно,— кричат ребята,— что за вопрос!

— А вот, оказывается, и иет!

И мы вскрываем связь этих двух уклоиов, их социальиое родство, говорим о право-левацком блоке.

Заиятие идет живо. Ребята поиимали теперь, что к чему.

— Вот, а ты ие хотел идти,— подтолкиул одии пареиь другого, когда коичилось заиятие.

— Не зиал, вот и ие хотел, а теперь сроду ие пропущу!

Комсомольцы в общем были ребята хорошие, ио оии еще слабо поиимали, в чем главиые обязаииости комсомольца. Комсомолец, чувствовавший себя комсомольцем, только приходя иа собраиие,— вот главиая беда, с которой можио встретиться иередко. В обычиой работе ои себя комсомольцем ие чувствует. Все работают хорошо — и ои подтягивается. Все работают плохо — и ои работает плохо. Другие, видя беспорядок,

бесхозяйствениость, молчат — н он молчит. Комсомолец ие чувствует еще снлы комсомольской органнзацин. «Как же, скажн ему,— говорнлн комсомольцы в ответ иа мои слова, что о каждом случае бесхозяйствеиностн онн должны доложнть правлеиию, еслн ие могут справнться самн,— ои тебя облает, и больше ничего».

Ребята ие привыклн еще выиосить хозяйствеиные вопросы на комсомольское собраиие, чтобы за спиной каждого стояла органнзация, которую уж никто «облаять» не посмеет. Мое замечаине, что на комсомольских собраниях должны ставнться такие вопросы, как, напрнмер, о скотном дворе, чтобы комсомольцы обсуднлн, все ли там в порядке, правнльно ли кормят коров, не воруют ли корма, было встречено с нтересом.

На следующем собраиии мы решили заслушать отчеты комсомольских групп о непорядках в колхозах. Это иаучит комсомольцев крнтнческн отиоснться к работе н втяиет их в борьбу за укрепление колхозов. Я уверен: будет так, что комсомольцы стаиут в колхозе авангардом и докажут, как умеют работать людн в стране холодиых сиегов и пылкнх сердец.

* * *

И вот я уже сиова в Еманжелинке, а ие в Еткуле. Черт бы побрал головотяпов н головотяпские методы работы! Как мы ни умоляли Уралколхозсоюз, иас ие послалн брнгадой в район, под тем предлогом, что людей не хватает. А теперь в этот же район прислали одну агрономшу нз Леиинграда н одиого студеита из Перми,— так не лучше лн было нас послать брнгадой? Да и здесь, в райоие, работая на курсах, я уже сжился с комсомольской ячейкой. Мие бы остаться в Еткуле на всю весну, наладить бы работу ячейкн. Но нет, курсы окоичены, н меня будут гоиять гастролнровать по районам.

А жалко оставлять еткульских комсомольцев...

Размышления на курсах полеводов

Товарнщн!
Верио, ведь сердце ие камень?

Оно ведь волнуется — сердце.
И что же?
Всегда восхищался
Я сам васильками,
А тут обучаю,
Как их уничтожить.
В душе так тоскливо...
Вернешься с курсов,
Расправишь лениво
Затекшие мускулы,
И к жизни
Нет былого вкуса,
И за окном
Беспросветно тускло.

И вот представляю:
Поле ржаное,
Как говорится,
Засеяно «ржою» —
И вот иду я,
Положим, с женою
(но не со своею,
конечно,— с чужою),
А тут
Василечки...
Букеты...
Веночки...
И воздух
Такой раскаленный, летний...
Ах, слишком коротки
Летние ночки
И слишком длинны
Языки у сплетниц!..
И вдруг, представь:
Василечков нету,
Нет сорняков!
А поле пусто...
Как перенесть это
Мне, поэту,
Служителю
Высокого искусства?

Но вот
Мое сердце забилось туже,

И сразу мускулы
Стали тугие,
И стал я мысль
Обдумывать ту же,
Только сравиеиия
Взял другие.
Как жили помещики
Раньше, с царями.
Гуляли купцы
По расейской шири.
Оии трудовые
Поля засоряли,
Оии молодые
Посевы душили.
И что же,
Если — едииствеииый случай —
На сотию пузатых,
Тупых паразитов
С косою русой,
С душою лучшей
Одна иарождается
«Доииа Розита».
Так что ж,
Что пока, за иаживой летая,
На бирже папаи
Набивает кармаиы,
Оиа иа кушетке
Сидит и мечтает,
Поет ромаисы,
Читает ромаиы.

Так что ж?
К жалобам
Буржуазии
У пролетариата
Что сердце, что камеиь.
И мы потому
Врагов отразили,
Что их ие боялись
Ворочать штыками.
И мы ие жалели
И «Доииы Розиты».
Пусть лозунг кипит,

По полям бушуя:
«Так да погибнут
Все паразиты
От василька
И до буржуя!»

* * *

Итак, мы едем. То есть теперь-то мы приехали, а ие едем, и ие только приехали, ио и вериулись обратио. Но вы понимаете, что я пишу так, чтобы представить все картииуее: как мы ехали, что говорили, как приехали — словом, все подробиости, чтобы все, что живое, вставало бы как живое, а то, что деревяииое, так и казалось бы деревяииым. Итак, мы едем. Мороз меия ие прохватит: шарф у меия иамотаи вокруг шеи, шуба застегиута иа все крючки, иа иогах иадеты пимы. Ох уж эти пимы! Когда мы ехали, сиег лежал иа полях, как листы чистейшей бумаги. Но иа следующий же деиь весиа прииялась за творческую работу. Оиа перемарала своим «характериым почерком» все эти простраиства: оиа в волиеиии сажала кляксы; ие иаходя рифмы, оиа в отчаяиии перечеркивала целые поля. Одиако я верю в ее талаит. Я зиаю, что в коице коицов из-под пера ее выйдет что-то иеобычайио яркое, ио сейчас, имеиио сейчас, оиа поставила меия в затрудиительиое положеиие. Расхаживая в пимах по Красному, я был предметом всеобщего удивлеиия. Меия иазывали ие иначе, как «тот, который в пимах», и когда я вышел иа сцеиу и иачал: «Здравствуйте все, старики и молодежь, иа улице грязь, и в пимах ие пройдешь», то дружиый хохот гряиул в зале. По какому случаю вышел? Терпеиие, товарищи, терпеиие! Все объясиится впоследствии. А теперь возвратимся к ходу событий.

Едем мы ие как-иибудь — едем бригадой от райкома партии и райкома комсомола иа штурм прорывов в подготовке к весеииему севу. С иами иа кошеве лежит громадиая белая труба. Это сверток бумаги. Для чего оиа? Для стеигазет. Мы ие хотели проехать и бесследио исчезнуть, иет, мы хотели в каждом селе оставить по себе память в виде симпатичиого листа бумаги.

Стеигазетное дело цветет у иас в СССР. Листья стеигазет шумят по всему Советскому Союзу. Но прямо надо сказать, что эти листья большей частью иесъедоб-

ны. Они безвкусны, лишены всякой остроты, да надо сознаться, что и малопитательны. Огромные статьи «к кампании»: к Октябрю, к 8 Марта, к хлебозаготовке,— для кого они? Для того читателя, который не читает центральных газет? Но он не будет читать и такую стенгазету, да и, прочитав, не много понял бы из сухой, подчас малограмотной статьи.

Мы решили отказаться от разъяснительных, сугубо политических статей и дали лишь одно воззвание к бывшим уральским партизанам, написанное коротко, энергично, большими буквами. В газете был только местный материал. Но и его надо уметь подать. Обычно, когда в нашу тощую сухую стенгазету и попадет что-нибудь питательное, то его просто не умеют приготовить. Я говорил ребятам из редколлегии еткульской ШКМовской стенгазеты: «Вот вы написали, что Зюбанова плохо посещает комсомольские собрания. Ну и что же? Она и сама знает, что плохо, и каждый из вас знает,— заметка никому не интересна. А вот если бы вы объявили в газете громогласный конкурс на изобретение, как затащить Зюбанову на собрание, печатали бы сводки изобретений или нарисовали бы, как ее трактором тащат на собрание,—тогда заметкой бы заинтересовались».

Но возвратимся к ходу событий. Я остановился на том, что мы едем. Нас едет пять человек. Это мало, но в Красном уже находятся две студентки Челябинского педтехникума, которых мы намерены включить в свою бригаду. Эти девчата, Таня и Маня, жили в Красном две недели. Уже, между прочим, успели выпустить и живую газету. Это нас заинтересовало. Нам предложили выпустить еще номер живой газеты по материалам нашей штурмовой бригады. Сказано — сделано. Мы мобилизовали актив, собрали материал, составили частушки, написали раек, разучили вступительный марш, приспособили к местным темам несколько известных песен и т. д., и наконец все было готово. Я совмещал обязанности автора, режиссера и суфлера; Таня — инструктора по голосу и движению плюс главная исполнительница.

В общем, получилось весело, смеху было много. Когда мы приехали в Коелгу, то, уже не откладывая, взялись за подготовку живой газеты.

Что же было в Коелге? И что за Коелга?

Терпение, товарищи, терпение! Все объяснится впоследствии. Я остановился на том, что мы едем! Через четыре часа езды мы были в Красном. Слезли, как полагается, с саней и пошли пить чай к Марине. А затем? Что было затем? Хотел я все это изобразить как следует и чтобы было красочно, но вижу, что сущность самую уже разболтал, пришлось бы повторяться. Экое ведь перо!

* * *

И вот снова кошева, и снова кони, и снова несутся, и снова вдаль. Все как было — изменилась только погода. Давно ли, кажется, я гулял по растаявшим улицам Коелги в пимах, вызывая смех у прохожих. И вот уже не смех, а снег летит мне вдогонку. Поля опять забелели, полозья заскрипели, метель поднялась. Это пускай: снег нужен. Право, можно подумать, что зима записалась в ударницы и снова принялась за работу. Ведь уже начались разговоры о том, что снегу мало, что предстоит неурожай. Эта мысль, придя, сразу попросилась в стихи. Их сочинением я и занимался всю дорогу (сорок пять километров). Хотя ты и восстаешь против стихов, все-таки рискну их выпустить на этой странице. Не пропадать же добру!

Зима-ударница

Срывайся же с цепи,
    Емангул-река,
На редких прохожих
    рычи!
Уже
    засияли
        вверху облака,
Уже зажурчали ручьи.
Отбалагурив
    и отсвистев,
Уходит
    зима на покой.
И так и ушла бы,
    если бы
        степь

Не начала речи такой:
«Послушай, зима!
Я сторицею дам.
Урожая —
хватит на всех,
Но
чтобы в комьях была вода,
Для этого
нужен снег.
А где он?
Не веришь —
взгляни сама:
Чернеют
поляны вокруг.
Ты злостный прогульщик,
ты лодырь, зима,
Ты мне не товарищ,
не друг».
Зима рассердилась сначала,
потом
Ей краска легла
на лицо,—
В такое вот утро,
в просторе таком
Не хочется быть
подлецом.
«Так что же?
Мое
не ослабло
плечо,
Я все же
еще молода,
Возьмусь
за работу
я так горячо,
Что грянут
везде холода!»
Так падай,
падай,
ударный снег,
Усеивай
степи вокруг!
Ты нужен

второй
большевистской
весне,
Ты пахарю —
верный друг.
Высвистывай ноты
от «до»
и до «ля»,
Под музыку эту твою
Уже
замирают в блаженстве
поля,
Они обещанье дают:
«Мы нынче сторицей
дадим урожай,
Ометы до неба кладн!
Засуха — жги,
спорынья — угрожай,—
Мы все равно
победим!»
Зима!
Ты работала нынче
не зря,
Мы покончим
с нуждой
и тоской.
Навстречу тебе
сияет заря
Почетною
красной
доской.

Эти стихи согревали меня долгой дорогой. В самом деле: если при умственном труде затрачивается энергия (а это так и есть), то, по законам физики, часть ее идет на теплоту. И, ей-богу, когда я находил нужную строчку, то сразу как ток проходил по телу и даже окоченевшие ноги согревались.

Второй большевистский...

Еще
на посевные площади

Навалено сиега
аршииы,
Но уж рвутся
в стойлах
лошади,
Тоскуют
в сараях
машииы.
Ведь труд —
это дело
доблести.
Товарищи,
встаием
рядами,
Чтоб соха
из Уральской
области
Отошла бы
в область
предаиий!
В то время
как тянет
иа убыль зима
И гулы весиы
иарастают,
Еще в канцеляриях
глыбы
бумаг
Спокойио лежат,
ие растаяв.
А скоро
по трещииам
хлыиет вода.
Землей
зачериеют
степи.
Товарищи!
Вот пятилетки года.
Товарищи!
Время ие терпит.
Чтоб трактор
вовремя
землю подиял

И дружно бы
шли
комбайны,
Впишите
сейчас же
в повестку дня
Вопрос
о посевкампании!

Утонула собака

Речь будет идти не о собаке. Речь будет идти главным образом о весенней посевной кампании.

Вчера старуха возница, везшая меня в Еткуль, спросила:

— А ты кто такой будешь?

— Агроном, бабушка,— ответил я и замолк, полагая, что ответ в достаточной степени понятен.

Однако оказалось, что это не так. Старуха с минуту подумала, понукнула лошадь и, наконец обернувшись, спросила:

— Ну так, граммофон, что ты, граммофон, делаешь?

Итак, что же я, граммофон, делаю?

Но прежде всего разрешите мне сделать маленькое отступление. Нет, не о собаке: я хочу объяснить, каким образом я выбрал время для настоящего письма.

Сегодня утром прихожу я в контору колхоза, говорю, что вот так-то и так-то, дело вот такое-то и такое. В заключение требую:

— Позовите сюда свиновода!

— Свиновода нет, он уехал в Бектыш.

Что ты будешь делать! Кроме свиновода, никто не знает даже количества свиней. А он вернется только завтра. Таким вот образом у меня образовался целый день свободный, и я могу заняться письмом. Только вот не придумаю, о чем написать. Я знаю, вы напомните мне о собаке, которая утонула. Нет, о собаке я писать не буду, а напишу лучше о другом.

Вот представьте, например, как я подъезжаю к воротам потаповского колхоза (называется он «Имени 22 января»). День теплый. И вот... Но я не уверен, что

вы достаточно ярко себе представите все это. Вглядитесь же, прошу вас: конь черный, но не такой иссиня-черный, блестящий, как его рисуют обычно. Нет, такой, как будто его намазали ваксой, а щеткой еще не чистили, и он черный, взъерошенный, но не блестящий. Над глазами — бархатные ямки маленькие, а глаза у него как синие жуки,— знаете, такие, которые над прудом летают? Ноги тонкие до жалости, а гороховидная кость выдается. К этому добавьте дугу, согнутую, как ей полагается, возок обыкновенный и, наконец, меня — меня-то уж, я надеюсь, вы представляете?

Итак, мы въезжаем на потаповские улицы — они полны людьми. Платочки у девушек красные, рубахи на парнях красные, лица тоже красные. Однако, несмотря на это, впечатления революционности не создается. Наоборот, все это как будто угнетает.

Почему? Потому, что день сегодня майский, очень приветливый. Потому, что лежат в поле пласты, навороченные плугом, лежат и сохнут, как от любви. Потому, что неудобно устраивать выходной день, когда надо бы сеять и сеять. Не от стыда ли так горячо пылает солнце? И сами люди кажутся немного смущенными, а выпитые пол-литра придают им излишнюю совестливость и предупредительность.

— Я извиняюсь,— говорит человек, сидящий на ступеньках у конторы,— может быть, я вас побеспокоил? Я извиняюсь...

Я вхожу в контору. За столом уныло сидит человек с кислым выражением лица (не таким кислым, как лимон, а таким, как кислая капуста).

Я спрашиваю:

— Где же председатель?

— Уехал в район,— отвечает человек сладким голосом, так не идущим к его кислому лицу.

— А кто его замещает?

— Я.

— А кто распорядился сделать сегодня выходной день и по каким соображениям?

— Колхозники, общее желание колхозников,— отвечает сидящий и ищет сочувствия на лицах обступивших нас колхозников.

Но они суровы.

— Да мы ннчего... Мы бы не протнв н работать — так правленне распоряднлось. Вот еслн только конн...

— Да, конн...— вздыхает другой.

Действнтельно, конн тут больной вопрос.

— По крайней мере, садnлкн надо было пустнть, хотя бы в две смены лошадей!

Молчанне.

— Да что саднть-то без толку! — непрнязненно вставляет другой колхознnк.— Саднлкн садят неправнльно.

— Как неправнльно?

— А так,— ожнвляясь, говорнт колхознnк.— Ты скажн, хорошее лн это дело, еслн мы на трндцатн десятннах посеялн сто трндцать пудов? А?

Через мннуту мы уже на площадн, окруженные десятком зевак. Берем, выкатываем саднлкн, подстнлаем брезент, обмеряем, высчнтываем, вертнм.

Первая же саднлка, как оказалось, высевала... шестьдесят кнлограммов (нужно девяносто). Вторая — сто н т. д. Брнгаднры ахалн вокруг; те нз ннх, чьн саднлкн саднлн правнльно, удовлетворенно улыбалнсь. Таким путем мы проверnлн все шесть саднлок по два раза: на сухое н влажное зерно (шла протравка формалнном). Все установкн запнсалн, роздалн брнгаднрам. Во время такнх нашнх занятнй подъехал н председатель колхоза. Поэтому мы, не теряя временн, устронлн заседанне правлення с актнвом колхоза. Сменнлн полевода, который нн разу не был на поле н допустнл разрыв между пахотой н севом. Обсуднлн выполненне рабочего плана — моего черннльного детнща — н внеслн в него некоторые нзменення.

Уже было темно, когда я отправнлся на отведенную мне квартнру. Улнца уже шумела н звенела по-вечернему. Вдалн завнзжала гармонь. Залаяла собака (не та, которая утонула. О, та в другом смысле!), заскрнпелн ворота. Я вхожу в комнату. Самовар, неизменный друг самовар, встречает меня на столе. Вндно, что он пылает ко мне самой горячей дружбой, но я отношусь к нему холодно. Он порядком надоел мне во время монх бесконечных скнтанnй. Он лнцемер, он фальшнвый, он пуст внутренне, хотя н блестящим кажется снаружн. Хоть он мне н земляк (нз Тульской губерннн), но я все же скажу, что он не стронтель соцналнзма,

и недаром на смену ему идет молодое поколение примусов. Может быть, вы скажете, что я слишком жестоко отношусь к самовару, но посудите сами: утром самовар, вечером самовар... «Идите обедать!» — зовут меня, и я вижу на столе все тот же самовар. Тут вообще трапезу называют не по существу, а по времени, в которое она происходит. По-нашему чай остается чаем, когда бы его ни подали, а у них не так. Я помню, как в Назарове мы с хозяином вошли в избу и он сказал: «Ну, сегодня у нас будет генеральский обед...» Я думаю: «Что же будет?» А оказывается, генеральский в том смысле, что поздний: генералы всегда в пять часов обедали.

Но уже поздно, кладу ручку и заканчиваю письмо. Да, я должен рассказать все-таки о собаке. Дело в том, что тут много татарских слов — Еткуль, Каратабан, Бектыш, Коелга, Еманжелга. Я расспрашивал об их значении, но не мог добиться удовлетворительных ответов. Узнал только, что Еткуль — значит «глубокое озеро» и Еманжелга — «утонула собака». Вот и все, что мне известно о собаке. Но при каких обстоятельствах она утонула и пришел ли кто-нибудь ей на помощь, это мне ничего не известно. Может быть, дальнейшие исследования прольют некоторый свет на эту загадочную историю.

Заря в коммуне «Обновленная земля»

Представьте:
теплый
и мягкий
хлеб,
Еще отдающий
золой и печью.
Представьте:
чистый
и светлый
хлев
И в прорези
милую
морду овечью.

Представьте:
иизкий, угрюмый лог,
Ветер,
свистящий
по ряби луга.
Представьте:
простой
человеческий лоб,
Четверка коией,
рукоятка плуга.
И, свистя
иа все голоса,
Поворачивая с тракта,
Сюда
приближается к пашие
сам
Товарищ трактор.
Зачем ои идет?
Ведь вечер уже!
Ведь коии
идут иа покой!
Но трактор
взаправду
гудит иа меже
И пашет,
чудак такой!
Прямыми рядами
ложатся пласты,
И тает в воздухе
серый дым
Под этим иебом,
седым и простым,
Над этим лугом,
простым и седым.
Ты чем
так встревожеиа,
сиияя даль?
Зачем твои звезды
горят?
Тебя проезжают
и плуг
и роидаль,
Они меж собой говорят:

«Нас в дыме
и гуле
рабочий ковал,
Бил молот,
и иыло плечо.
Задача наша
теперь какова?
В работе
жить горячо!
Рабочий
сердце
вкладывал в труд.
Он думал
коммунам помочь.
Так что же
должиы мы
делать вот тут?
Работать
и деиь
и иочь!
Пройдем же еще
вои той стороной,
Нацелим
железо в упор».
Так
у трехкорпусиого
с бороиой
Дружеский
шел разговор.

* * *

Первое мая!

В этот деиь у вас в Москве слышеи гул миллиоиов, полыхает пожар зиамен. Рабочие и работиицы идут в одиом ряду с Чемберлеиом, а Чемберлеи сделан из картоиа, и у иего отвратительиая рожа. Людские колоииы идут вместе с оркестром, оркестр играет и помогает иогам идти. Весело брызгая грязью, проиосятся автомобили, наполиеиные ребятишками. Густые людские колонны проходят через Красиую площадь.

А у иас в Коивитове иет Красиой площади. У иас ии зиамен, ии оркестров, ни автомобилей. Но мы ие хуже отпраздновали, право, ие хуже.

Празднование началось с раннего утра. Только что родившееся солнце с улыбкой оглядывало землю, а заря тянулась еще кровавой плацентой, когда табор проснулся и люди зашевелились. Свежий ветер шумел листвой деревьев, как знаменами. Солнце медленно поднималось на трибуну неба. Люди, волнуясь и спеша, возились у лошадей. 15 минут, и готово — первомайские колонны выступили в поход. Бороны заблестели своими молодыми зубами, тяжелые тринадцатиногие садилки побежали, врезая в землю свои башмаки. А на другом участке сверкнули буккера, плуги, культиваторы. Лошади молодо шли, переступая по комьям пашни.

Вы скажете: да это же труд! Нет, это дело доблести и геройства. Вы скажете: это же будний день — нет, это веселый праздник, ибо идет большевистская весна. Ибо конвитовские колхозники постановили: «В дни весеннего сева дорог каждый день. 1 Мая, праздник труда, провести в поле и показать в этот день ударные нормы выработки». Это постановление не было обязательным. Кто хотел, мог вечером заявить об этом и первого мая быть свободным. Но таких во всех трех бригадах оказалось лишь двое.

В обеденный перерыв все три бригады сходятся вместе. В котлах уваривается, пузырится жирными блестками первомайский обед. Мы стоим с Пятиной, студенткой совпартшколы, и разговариваем о проведении митинга. «Что это за знамя?» — спрашивают ребята с бороновалки. В руках у Пятиной действительно свернутое вокруг древка знамя. Она молчит.

Сначала коротенький доклад, затем мы устраиваем проверку договоров соцсоревнования. Притаскиваем большую черную доску. Графили ее вертикально на три части — раз, два, три — это по бригадам, горизонтально на 10 — это по пунктам договора. Каждый выполненный пункт отмечаем +, невыполненный —. Посмотрим, у какой бригады окажется больше минусов. Колхозники, заинтересованные, толпятся вокруг.

Читаем первый пункт: «Бригадиру довести до сведения бригады нормы выработки по всем машинам».

«Это мы знаем!» — раздаются голоса.

«Как не знать!»

«Всем плюсы!»

«Постойте,— говорю я,— сейчас мы проверим. Сна-

чала первая бригада. Кто из первой бригады, поднимите руки».

Восемнадцать рук.

«Ты, например, на чем работаешь?»

«На буккере».

«Какая норма выработки?»

«2 га».

«Верно! А ты на чем?»

Белоголовый парнишка смутился.

«На культиваторе».

«А норма какая?»

«Позабыл».

«Кто из этой бригады знает норму на культиваторе?»

Колхозники морщат лоб, вспоминают мучительно, не хотят получить минус.

Напрасно — даже бригадир позабыл.

«На всем знаем, только на культиваторе позабыли».

Под общий смех заносим бригаде минус.

«А из других бригад кто знает?»

«Три га!» — кричат голоса. Они хитро молчали.

Так идет проверка.

Когда все пункты проверены и занесены на доску как наглядная характеристика работы всех бригад, интерес колхозников достигает высшей точки. По всем данным выходит на первое место вторая бригада.

Тогда я развертываю наконец таинственное знамя и передаю его бригадиру второй бригады. Большими белыми буквами на нем выведено: «Передовикам весеннего сева». Бригада обступает знамя. Бригадир хочет скрыть радость, но она у него пробивается сквозь усы. На лицах колхозников других бригад разочарование и зависть. Но разочарование сменяется воинственным настроением, когда они узнают, что знамя переходное и будет вновь присуждаться каждую пятидневку.

«Ну, поглядим еще, у кого оно будет»,— говорили колхозники, расходясь по своим бригадам.

Ребята же просто прыгали около знамени и кричали: «Отберем, отберем!»

«Как же!» — отвечали им.

Потом мы устроили вечер вопросов и ответов. Накупили мыла, табаку, зеркал, карандашей — это пре-

мии. Составили 40 вопросов. Вечер прошел очеиь оживленно. Правда, былн некоторые шероховатости. Вопрос «Почему ты ие комсомолец?» достался древнему старику и вызвал всеобщий смех. Вопрос «Кто больше всех прогулял в колхозе?» вызвал страстиые споры — пришлось прибегиуть даже к голосоваиию.

Поздно вечером веселые и ожнвлеиные колхозиики разошлись по домам.

В лабиринтах фактошифра

Из дневника

Так нельзя ходить, как я хожу, таким сумасшедшим, так нельзя тосковать, как я тоскую. Надо хоть немного ослабить подпруги тоски. Надо своею тоской с кем-то поделиться, она от этого меньше будет,— так даже математика говорит.

Я давно догадался об этом, что поделиться нужно, но с кем, с чем? Такого друга у меня нет, которому все можно было бы рассказать, то есть я думал, что его нет. А сегодня вдруг вспомнил, что он есть. Вспомнил — и даже сердце радостно забилось: друг настоящий, искренний друг у меня есть! Друг такой, перед которым душу можно раскрыть, как окно в душную ночь, которому мысли можно доверить, как тигрят тигрице,— друг такой есть!

И вот сегодня утром я порылся в корзине, достал друга, ибо друг этот — бумага, и начинаю разговор с ним, самый искренний и задушевный.

Вот почему я начинаю этот дневник, который и будет моим собеседником.

Постараюсь изложить все по порядку. Этому помогут те записи, которые привык я делать ежедневно. Это не дневник и даже не подобие дневника. Нет, это фактошифр, как я называю. Это краткая, неразборчивая запись о случившихся за день фактах, запись, понятная лишь для меня одного. Никто более в моих крючках не разберется. Даже и сам я подчас в них путаюсь и, позабыв, что к чему, бывает, на миг теряюсь, ища смысла набросанных мной таинственных каракуль.

Но тихо пробирается по извилинам мозга память, и вдруг, как молния, озаряет сознание, и каракули приобретают глубокий смысл.

* * *

Давно уже, с юношеских дней, я не был влюблен по-настоящему и очень быстро разочаровывался во всех женщинах, с которыми встречался за последние два

года. Часто меня влекла к себе чья-нибудь улыбка, блеск глаз, игра теней на лице. Я искал сближения, но проходило три дня, четыре, самый большой срок три недели, и я уже охладевал и успокаивался. Сквозь прежнюю, такую увлекательную улыбку видел я умственную вялость, в прекрасных глазах только желание понравиться, а игра теней на лице прекращалась, ее не было, если в это лицо вглядеться, поближе узнать его.

Мне жалко было моих кратковременных «влюблений», я старался воротить их, старался раздуть в сердце огонек.

Эти дни, когда я был влюблен, мне нравились, в них жилось по-особенному и работалось лучше: мечта — необходимый составной элемент в жизни.

«Скучно, когда в сердце нет жильцов,— говорил я.— Нет, не скучно, а страшно, когда там нет жильцов».

Страшно, что вся жизнь пройдет вот так, без горячего чувства, без той лихорадки ядовитой, которую я краешком захватывал, пройдет, как эта холодная ночь проходит, как поезд проходит, и жизнь не вернешь так же, как поезд.

Где и с чего начинается первая глава моей повести? Она начинается в тесной и веселой комнате редакции нашей многотиражки. Да, она начинается в этой комнате, с которой у меня связано немало воспоминаний, где резко и хрипло звенит телефон, где весело, как огонь, потрескивает пишущая машинка («Наш обожаемый монарх» — называем мы ее, потому что машинка системы «Монарх»), где свалены кипы газет, набросано, насорено и всегда два или три человека строчат что-нибудь, блаженно или ядовито улыбаясь.

...Глупо и неверно пишут иногда в романах про любовь. «Лицо ее сразу врезалось ему в память», «стояло как живое», «преследовало» и т. п. Как раз бывает наоборот. Чем сильнее поражает тебя лицо, чем больше оно затрагивает сердце, тем труднее его запомнить. Вместо лица в памяти остается какой-то неясный образ, какое-то отравляющее мозг впечатление — и только. Да это и с точки зрения физиологии понятнее. Сильное впечатление оглушает, парализует мозг, и он отказывается работать как обычно — запечатлевать в памяти лицо.

Так у меня было с Тоней. Лица всех девчат — Катн, Лнды, Тосн — я представлял и помннл хорошо. Тонного же лнца ие мог запомннть очень долго. Иногда оно, это лнцо, промелькнет в памяти, как молния, и, как молння, потухиет.

В анатомическом кабинете

Вннманнем дышат лица...
Раскрыты веером уши...
Здесь молодежь толпится
Около теплой туши.
У края стонт с ланцетом
Бровар *;
слова бросая:
«Мускулюс массетер...
Виутреняя косая...»
Броднт, волокна смниая,
Рук его отпечаток.
«Вот здесь — спниная,
А вот — край зубчатой...»
Но нз всех объясиенй
Я только одно лишь понял,
Одно лншь мне стало яснее,
Что лучшая девушка — Тоня.
Что броднт по комиате мука,
Что сердце стучит у Тоии
Такнм серебрнстым звуком,
В таком мелодичном тоне.
И когда мы выщли на воздух
И ночь зацвела голубая,
Это иебо, рябое в звездах,
Так хорошо улыбалось.
Колючая вьюга снега
Так бушевала чудесно,
И шорох такой шел с неба,
Что в сердце слагалась песня.
Даже луне стало грустно,

* Преподаватель аиатомии.

Плывущей в лнловом блеске,
Что в небе ужасно пусто
И ей целоваться ие с кем.

Тов. Тоне, члену райсовета, от Чекмарева

Заявление

Под мягкнм светом
электрошаров
Вы сидите в глубннах кресел,
Чтобы каждый в республике
был здоров,
И сыт,
и румян,
и весел.
Но дерзаю от срочиых дел
Вызвать тебя с заседания.
Тоня! парень однн заболел,
Прошу обратнть вннманне!
Правда,
парень
ие слишком умен
И с довольно посредственной
рожей,
Какая-то куртка
иадета на нем,
И кличут его Сережей.
Он в стены впнвает
измученный взгляд.
Смотрнте,
какой он рассеяниый!
Ои и не слушает,
что говорят
Про шахты
и про бассейны.
Ои не листает
ученых томов.
Ои не пншет конспекта.
Но в сердце его
расцветает любовь.

Всеми цветами спектра.
И кроме тех дум,
что жгут,
как мороз,
Что в душу
стучатся, как в стекла,
Весь мир,
ему кажется,
скукой зарос,
Вся жизнь
отцвела и поблекла.
Брести в столовую?
Ради чего?
Питаться соленою рыбкою?
Ах, он погибнет,
если его
Не одобрить улыбкою!
Твоею улыбкою, Тоня,
да,
Прекрасною, милой такою.
И сразу бы муки
не стало следа,
Тоску бы
сняло, как рукою.

* * *

Был у Тони. Пригласил ее в Политехнический на вечер поэтов. Стоит ли описывать вечер? Все равно не опишу. Я сидел с нею, кажется, в третьем ряду, любовался ее улыбкой, следил за движением лица, ревновал к Кирсанову и Луговскому, на которых она, как мне показалось, очень много смотрела. В общем, был глуп и счастлив.

С вечера я провожал ее до 41-го. Шел редкий снег. Погода такая хорошая, небо такое хорошее.

— Ну, пока,— сказала она, прыгая в трамвай.— Будешь писать, конечно, мелким почерком.

Да, Тоня, вот пришел и сижу, пишу мелким почерком.

Я помню себя на следующее утро. Я был беспричинно и чудесно счастлив. Все радовало, все казалось прекрасным, ни на кого я не был в силах рассердиться.

Мне даже самому было удивительно это мое радостное настроение. Ведь ничего же не случилось, думал я. Если бы я хоть раз поцеловал ее, а то ведь ие было этого, и слова ни одного о любви не было сказано, и ничего, ну ровно ничего не было. Но все-таки счастье так и разливается по телу. Отчего? Ну, просто оттого, что весь вечер сидел рядом с нею, смотрел на нее, говорил с ней.

Не знаю, как это объяснить. Вообще приятно быть около любимой девушки, смотреть иа нее и слушать ее, с кем бы она ни говорила. Но если она пойдет куда-либо со мной, только со мной и будет разговаривать дорогой со мной, только со мной, и смотреть иа иее буду я, только я, то это уже что-то гораздо больше и лучше. Так, солнечные лучи вообще греют, но если их линзой свести в один фокус, то они жгут.

...Это был первый период любви, когда просто хочется быть вместе и когда вполне счастлив бываешь только оттого, что вместе.

Выходной день

Стнх напнсан
В лирнческом тоне.
Кому посвящаю?
Конечно, Тоне!

Восьмого, в восемь часов утра,
Проснулся я с мыслью одной:
Сегодня горячим и нужным делам
Отдам я свой выходной.
Первое: надо усвоить на «ВУ»
Что-то о видах металла.
Второе: прочесть шестую главу
(Третий том «Капитала»).
Затем поработать часика три
Над своей «Ильичевкой»:
Каждую фразу заострить,
Сделать легкой и четкой.
План замечательный — что и сказать!
Расчет был довольно тонкий,
Но только одно не учел я: глаза,
Глаза и улыбку Тоньки.
Напрасно я в книгу глядел, как баран,

Я в ней даже букв не заметил.
На сердце поднялся такой буран,
Такой сумасшедший ветер.
Мечты маршируют, как роты солдат,
И мысли несутся, как конница,
Из всех событий, имен и дат
Одно лишь на свете помнится:
Как она засмеялась, вошла, ушла,
Задумалась, руку пожала
И как улыбкою сердце жгла
Больнее и ярче пожара.
И ярок чувств распущенный спектр,
Он мозгу командует:
«Стой!»
И вот закрывается скучный конспект,
Раскрывается Лев Толстой.
Плыви, как в тумане, волнующий шрифт,
Горячие мысли, теките!
Вот Долли рыдает, измену открыв,
И в вальсе кружится Китти.
Оркестр, мелодию заиграв,
Созвучия в уши бросает.
И тут появляется Вронский — граф,
Богач, адъютант и красавец.
Он к Китти стремился лучистой мечтой,
Любовался улыбкою, бровью
И думал наивно, что чувствует то,
Что люди зовут любовью.
Но любовь — это перец, огонь и желчь,
Это розой цветущая рана.
Она обязана мучить и жечь,
Она не выносит спокойную речь...
И в платье, открытом почти до плеч,
Входит Каренина Анна.
И сердце графа дает перебой,
И граф отдается смятенью,
Уже становится он не собой,
А ее отраженной тенью.
Сердце Анны ужалено тоже,
Но Анна замужем, Анна — мать,
Но, боже, она ведь любить не может,
Это ведь надо же понять!
Анна с тоскою не в силах справиться.

Аииа едет в Саикт-Петербург,
Прижав холодиые тоикие пальцы
К такому горячему, милому лбу.
Ах, скорее домой, и там бы
Встретили Аиию ребеиок, муж!..
Аииа встает и выходит в тамбур,
Чтобы ветер сердце избавил от мук.
Тяиется леса рисуиок броский...
И сразу в ушах волиующий звои:
Боже, чьи это губы?
        Вроиский!
Да, сомиеиья иету, ои!..
Ои стоит уже с иею рядом.
«Стоять? Повериуться? Уйти иазад?»
Но Аииа ие может спрятать радость,
Жгущую губы ее и глаза.
Ведь это ие иужио спрашивать даже,
Ведь это же ясиого ясией,
Что ои для того лишь стоит иа страже,
Чтобы быть тут, в поезде, рядом с ией.
Что ои стоит среди урагаиа,
Где вихри сиега и стали гуд,
Лишь потому, что дорога ему Аииа,
Что так волиующ изгиб ее губ...

Но ие буду пересказывать дальше содержаиие «Аииы Карениной», оио известио всем. Я читал до вечера, увлечеииый шелестом страииц. Лишь вечером я отклеил глаза от киити, ие как отклеивают мух от меда, а как отклеивают бииг с присохшей кровью от раиы. Затем я прииялся за чтеиие учебииков. Затем...

Затем — железом звеиит засов,
Входят приятели — иет спасеиья!
Затем иачииается гул голосов
И долгое рук трясеиье.

— Ага, Сергей, оторвался от масс?
— Молчишь, брат, и крыть, зиачит, иечем?
Слушай, Сережка, идем сейчас
На литературиый вечер.
— А кто читает? — Сельвииский сам.
— А где это? — В клубе ФОСПа.

И в сердце вспыхнула страсть к стихам,
Как вспыхивает оспа.
Я чувствовал: надо всех выгнать вон
И засесть за том «Капитала»,
Но вечер, но строчек волнующий звон,
Отливающий гулом металла...
Я видел, пылая, горя от стыда,
Что я поступаю по-свински,
Но все-таки взял и поехал туда,
Где выступал Сельвинский.
Вжатый, втиснутый в номер «Б»,
С какой-то дамой напудренной,
Я стоял, покорный судьбе,
Пока не доехал до Кудрина *.
И вот, расставшись с последним рублем,
Я думал, вбегая в сияющий клуб:
«Глуп ли я оттого, что влюблен?
Или влюблен оттого, что глуп?»

Приглашение в фотографию

Я говорил тебе не раз
Простой и стихотворной речью:
Как у тебя, таких вот глаз
Я в жизни больше уж не встречу.
В пылу тоски, в бреду ночей
Такие лица только снятся.
И тем обидней и горчей,
Что ты никак не хочешь сняться.
Ты скажешь: «Вот они, взгляни!»
И веер карточек разложишь.
«Скажи, не правда ли, в те дни
Была я лучше и моложе?»
«Нет,— говорю я,— Тоня, нет!
Там пестрота, там лесть, там ретушь,
Какой ни выбери портрет,
Такого выраженья нет уж...
Да ну же, Тоня, что с тобой?
Ну, милая, скажи «угу».

* Кудринская площадь, ныне площадь Восстания.

И мы ковровою тропой
Пойдем под вольтову дугу».

* * *

Хорошо: ну, приходит Тоня,
Но зачем же срываться с места?
Зачем глядеть беспокойно
И вступать в разговор неуместно?
Сережа! Еще немного,
И что от престижа останется?
Ты должен держаться строго,
Как член редколлегии «Сталинца» *.
Но на такие речи
Я лишь головой качаю.
Я лишь поднимаю плечи
И сам себе отвечаю:
«Товарищ! В чем дело? Ну пусть он студкор,
Пусть пишет острее перца,
Но скажите: с каких же пор
Он не имеет сердца?
Нет, он имеет его! И вот
Вам результат наглядный:
Он уже ходит, как идиот,
Он очарован взглядами».

* * *

...Я гляжу больше на Тоню, чем на сцену. По правде сказать, так даже все время гляжу на Тоню, а на сцену только взглядываю иногда для приличия... Я до сих пор помню и никогда, кажется, не забуду это ощущение потушенного света в зале, музыки и хора, бархата стульев и мучительно милого лица рядом, лица, окутанного полутьмой... Весь вечер прошел для меня как легкий бред.

...Почему после того вечера десять дней назад я был так счастлив, а сейчас мне так тяжело? Объяснений нет, кроме того, что яд любви добрался до сердца, что мне мало того, чтобы Тонин висок был около моего,

* Многотиражка мясо-молочного института.

что что-то иужио было еще, чего ие было, и от этого тоскливо...

Разговор ие клеился, опять повисла тяжелая гиря молчаиия. Что было делать мие? Жаль было того вечера, хотелось как-то вериуть вчерашиее возбуждеииое Тоиио лицо, хотелось как-то сразу, как паутииу, разорвать, освободиться от этих тяжелых отиошеиий. Не иадо больше говорить, ие иадо приходить каждый вечер, иадо взять ее за плечи и привлечь к себе. Так я думал сделать. Но ие так просто было это сделать, хотя, казалось бы, чего тут трудиого?

Предположите, что перед вами плотиая доска, дубовая, шириной сантиметров двадцать. Попробуйте пройти по ией, ие иаступая на землю,— очеиь просто, да? Но переиесите эту доску иад пропастью, и вы уже ие скажете, что это просто. Так вот, мое иамерение — это та же доска, а пропасть — это моя любовь к Тоие.

* * *

Я скажу тебе «прощай»
Вместо «до свидаиия».
Только ты ие обращай
На меия внимаиия.
Ты засмейся и тряхии
Головой беспечиою:
«Ведь иельзя же в иаши дии
Жить любовью вечною».
Зачем, зачем блестит слеза
И губы желчью полиятся?
Мои же серые глаза
Недолго будут помииться.
Ведь мой же профиль ие прямой
И губы цвета камеди,
Оии забудутся тобой,
Оии уйдут из памяти...

* * *

Я был как пораженный громом,
Не мог дыханья перевесть.
Я покраснел, я стал багровым,
Когда услышал эту весть.
Так беспокойно, так тревожно
По коридорам я бродил.
И если б это было можно,
Я сам бы за тебя родил.
Как на душе темно и зыбко,
Как мысли гаснут на лету!..
Тяни, тяни мелодью, скрипка,
Но только выбери не ту.
Ты о любви довольно пела,
Теперь о том ты простони,
Как в муках бьется чье-то тело
На льду колючей простыни,
Как сведены в страданье брови,
Как тяжек груз горячих век
И как рождается из крови
Комочком синим человек.

* * *

Тоня! Вчера я тебя не поздравил (просто не сообразил), разреши хотя бы с опозданием поздравить сегодня. Передай привет маленькому милому человечку, которому идет уже сорок второй час от роду. Мне бы хотелось на него поглядеть. Хотелось бы очень и тебя увидать, но что поделаешь, если нельзя. Напиши несколько слов, как твое здоровье, настроение. Напиши, чего тебе хочется, я привезу. Только не пиши, Тоня, чтобы я не приезжал.

Прочти, прости...

За этим платьем, ярче меди,
За этой лентой голубой,

Прости меня, я не заметил,
Что у тебя на сердце боль.
Что ты измучена любовью,
Что эта жизнь тебе узка,
Что под твоею светлой бровью
Такая черная тоска...
Прости... Быть может, даже пошлым
И глупым иногда я был
И, незнакомый вовсе с прошлым,
Тебя невольно оскорбил.
Прости... Но этим страшным ядом
И я отравлен, как и ты.
И я ловлю печальным взглядом
Свои разбитые мечты.
Быть может, знай я все вначале,
Я прежним парнем мог бы быть!..
Но уж теперь моей печали
Не разогнать, не потушить...
Я буду здесь и буду злиться,
Я буду верен до конца.
Из сердца все на свете лица
Не выжгут твоего лица.

* * *

Я не допускал мысли, что ты можешь умереть. Это было бы слишком страшно, слишком ужасно. Я просто отбрасывал эту мысль, потому что знал, что, допусти я ее,— она меня сведет с ума. Это было очень важно — то, что там с тобой происходило,— и мучительно, и значительно в одно и то же время. Это ведь экзамен на женщину. Что будет, как это произойдет, что предстоит перенести, каков он будет, этот маленький люденыш, хороший ли он получится,— эти мысли разве не колотились в твоем сердце? (Ведь ты, Тоня, во многом еще девочка). И ведь правда, страшно было? Вот и мне было за тебя страшно. Я хотел представить, как ты лежишь там, в больнице,— и не мог: фантазия не повиновалась. Представлялось такое усталое, такое милое лицо, которое было у тебя однажды на вечере в химичке, когда мы ушли с «Синей блузы»,— помнишь? Память схватывала то твою руку, то прядь волос, а в ушах звучал твой голос.

Назавтра я был в больнице. Пришел я первым. Когда я узнал, что ты родила, и благополучно, мое лицо сразу просняло, и няня мне улыбнулась и пошла узнать — мальчик или девочка.

— Сын,— сообщила няня, вернувшись.

Должно быть, у меня при этом было радостное лицо, потому что какая-то старушка, подошедшая в это время с передачей, глядя на меня, тоже стала улыбаться.

— Ишь, как хорошо, когда сын! — сказала она.— Дочке не так радуются.

«Он такой же мне сын, бабушка, как и тебе»,— хотел я сказать, но не сказал, конечно.

«Я очень счастлива»,— написала ты. Я очень рад за тебя. (А помнишь, Тоня, помнишь, как ты недавно декламировала Шевченко, пела и сказала потом: «Это все прошлое, а где настоящее? Его нет».) Я понимаю твою радость и любовь к сыну. В самом деле: когда соберешь какой-нибудь паршивый карбюратор, и то чувствуешь невольно маленькую гордость: вот, дескать, были какие-то стерженечки, крышечки, а получилась красивая вещь.

А тут не карбюратор, а человек, и не собран тобой, а создан, выношен, пронесен через такую долгую тоску, через такие мучения — но пронесен все же! — и лежит теперь такой хорошенький, теплый, милый и курносый.

А с другой стороны, мне грустно, что ты очень счастлива. Значит, сердце твое наполнено, и мою любовь тебе поместить некуда. Ох, а ведь ей много надо места!..

Но ладно, подальше от грустных тем, буду стараться писать про смешное. А что смешное? Смешного мало. «Сам ты смешной»,— может быть, скажешь ты, прочитав это письмо.

На этом ставлю точку. Хотелось бы писать еще и еще, да и письмо получилось пока не такое толстое, какое я обещал. Но иначе я не успею решить задачу по организации территории, а это ведь недопустимо, правда, Тоня? Ты меня за это стала бы ругать. Поэтому скажу до свиданья. Как хочется тебя поцеловать!..

Если найду время, завтра напишу еще.

Тоня, как ты назовешь сына? Тоня, правда ведь, не так, как звали отца, не так, Тоня, да?..

* * *

Он обучался в высшей школе.
Он образован, он доцент,
Но в сердце — хоть бы искра боли,
Тоски — хоть бы один процент!
«Ты не криви так горько ротик
И к моему склонись плечу,
Ведь я любить тебя не против,
Но я ребенка не хочу».

Подумай-ка!

Тоня! Глаз твоих водоем
Свежестью плещет такою,
Может, и правда, по жизни вдвоем
Идти нам рука с рукою?
Быть молодыми, окончить вуз,
Дышать глубоко, трудиться,
И пусть смеется нам карапуз,
Который должен родиться!

* * *

Итак, она продолжает его любить! Вот и вся тайна. Просто и естественно: она продолжает его любить! Больше ничего. Я тут ни при чем, и моя любовь ни при чем. Они разошлись. Я думал: раз они разошлись, то и любовь кончилась. Это казалось мне само собой понятным, я и не спрашивал даже, иначе для чего же расходиться? А оказывается, нет. Трудно описать, как поразило меня это открытие...

* * *

Мне часто враги твердили,
Да и приятели тоже:
«В этом хитро устроенном мире
Ты глуп, дорогой Сережа.
Ты будешь всегда всех ниже,
Да и умрешь без славы».
Увы мне! Теперь я вижу,
Что все они были правы.

Ах, был бы умен я, не стал бы
С тоскою бродить по аллее!
Ах, был бы умен я, не стал бы
Так глупо вести себя с нею!
Не стал бы с бунтующей кровью
Часами сидеть в отчаянье!
Следить за светлою бровью,
Ловить головы качанье.
Я знаю: все это напрасно,
Но что же мне делать с собою?
И с платьем вот этим красным,
И с лентой вот той, голубою?..

* * *

Говорят, что утро вечера мудренее. Но эта пословица, во всяком случае, неприменима к утру шестого декабря. Вечером я был возбужден, взволнован, глуп может быть, но все же был нормальным человеком. А утром — я не знаю, как описать это,— во всяком случае, нормальным человеком я не был.

Во-первых, тяжесть на сердце, как будто к сердцу привесили гирю, и оно не может биться так хорошо и звонко, как раньше. В голове жар и шум, как будто я болен, хотя я ничем не болен, то кровь приливает к голове, дышится тяжело. И главное, мои мысли, мои густые, длинные блестящие мысли — они спутались, как волосы после купания. Где моя яркость мысли, свет в лабиринтах мозга? Увы, он потух, и по коридорам его теперь носятся исступленно какие-то странные вещества, вспоминается что-то о висках и глазах, о потушенном свете в зале. Никаким усилием воли я не могу стряхнуть с себя этого яда, как дерево само не может стряхнуть капли дождя с листьев.

Уже все заметили сегодня мой хмурый взгляд и тяжелую походку. Мне самому становится страшно, и я хочу разорвать черную паутину этих дум, стряхнуть все, скинуть с себя, не думать о Тоне, побыть прежним парнем. «Вот она, любовь, как болезнь,— думал я.— А я, дурак, хотел так любить. Нет, лучше так не надо».

Я чувствовал, что тут надо что-то продумать, обсудить, решить, как поступать теперь. Но начал думать и махнул рукой, поняв, что занимаюсь самообманом.

Я понял, что, какое бы решение я ни вынес, к Тоне сегодня вечером приду. Утопающий не может рассуждать, за что он хватается — не уколется ли, не обрежется ли?

* * *

Сегодня волк не спокоен,
его разбирает зуд.
И в чье-то горячее тело
вонзается острый зуб.
Он тушу рвет, как душу,
от горла идет к ногам.
Это жизнь, это буйство тела,
это атомов ураган.
Но, кроме вкуса мяса,
есть запах еще и цвет.
Поэтому ты мечтатель,
поэтому ты поэт.
Всю жизнь, еще в ребятах,
мечтал я о счастье таком:
До синего платья неба
дотронуться языком.
Чтоб эта заря поднялась бы,
взглянула бы мне в глаза
И, пальцами лба коснувшись,
в далекую даль позвала...
Мне скажут: «Ведь это безумье,
пройдет оно с ростом бород».
Мне скажут: «Не вздумай стреляться,
а сделай наоборот».
Нет! Я не пойду стреляться!
И жизнь сберегу и мечту,
Сквозь эту свирепую вьюгу
я, стиснувши зубы, пройду.
Хочу я с той самой землею
взрастить молодой росток.
Чтоб плакал, сосал и ползал,
умнел и мужал телок.
Пусть он набирает разум,
листает за томом том,
Окончит рабфак сначала,
а институт потом.

Пусть выйдет из нашего сына
ученый и дельный муж.
Пусть будет он шутке веселой
и песне хорошей не чужд.
Чтоб шел по планете не горбясь,
лишь песню призывно трубя,
Чтоб был бы за все он в ответе,
не рвал бы у жизни края.
И вот что, мой сын, запомни
и постарайся понять:
Вдыхать надо каждый запах,
но только цветы не мять.
Возиться над каждою краской,
но только не пачкать лица.
В ракете прокалывать звезды,
земные не ранить сердца.
А я уйду любоваться
на осени рыжую медь.
А я возьму колокольчик
и буду в него звенеть.
Всему — даже нам с тобою —
придет черед умереть.
И только красивой песне
дано без конца звенеть.
Прочтешь голубые строки,
и к сердцу прихлынет юг.
И пусть продолжают волки
свирепую жизнь свою.

* * *

Когда я беру твою руку,
Руки ты не отнимаешь,
Но в глазах твоих видится мука,
Такая печаль немая!..
И в жилках руки капризных
Я слышу тоски трепетанье.
Он здесь еще, этот призрак,
Над нами его дыханье!
И я своею рукою
Коснуться тебя не смею,
Я только смотрю с тоскою,
Я только сижу и краснею.

* * *

Ты говоришь: «Всему конец!
Забудь, уйди, не надо злиться».
И взгляд твой, серый, как свинец,
В мои глаза не хочет влиться.
И я гляжу в твои глаза
И наклоняюсь ниже, ниже...
Тех дней уж не вернуть назад,
Тех поцелуев с губ не выжечь.
Но этот лоб и прядь волос,
Все это — смех, и жест, и брови,—
Оно с душой моей сжилось,
Оно впиталось в плазму крови.
И каждый вечер, в поздний час,
Любовь приходит, как удушье.
Но у тебя в пещерах глаз
Ложится тигром равнодушье.
В улыбке, в линии плеча,
Как лунный свет, скользит усталость.
И мне теперь одна печаль,
Одна тоска теперь осталась...

* * *

...Она не только не хотела забыть его, вырвать из сердца, но как будто бы даже берегла его в сердце. «Этот человек — загадка»,— говорила она.

Вот тут, когда я разглядел такое отношение Тони к прошлому, начала рождаться ненависть к этому человеку. Хотелось доказать, что вовсе он не загадка. «Человек, расходящийся с женщиной только из-за того, что она хочет иметь ребенка, пошляк и мелкий человек, а вовсе не загадка»,— хотелось мне сказать. И я мучился властью его над Тоней и тем, что она сама не хочет эту власть с себя сбросить, а хочет сделать из него легенду. Я не мог примирить этого поведения с простой человеческой гордостью, с простым человеческим душевным здоровьем. Зачем скрывать от всех его имя, выдумывать загадку из простого и, может быть, пошлого человека? Ведь этим прежде всего она себя же мучает и свою же любовь растравляет. И как это у нее выжечь, я не знаю.

Ведь он не живой человек, он тень, которая лежит на сердце, а тень, как известно, ножом не соскоблишь и химическим составом не выведешь.

Я живой человек, я часто глупости говорю, и руки у меня грязные бывают, а он мечта, он легенда, он всегда умен, всегда чист. А знай его все по имени и отчеству и завтракай он у нас в буфете, может быть, Тоня давно б в нем разочаровалась.

* * *

Итак, «всему конец»...
Но я знаю, что всему не конец.
Я знаю, что повесть будет продолжаться.
Я знаю, что к Тоне по окончании отпуска приду.
Приду и сяду напротив нее.

Повесть будет продолжаться, я так хочу. Не знаю, как она будет продолжаться, не знаю, чем она окончится, но продолжаться она будет.

Дом, построенный на песке

Я от взгляда ее краснею,
Любуясь жилкою на виске,
Но наша сердечная дружба с нею —
Дом, построенный на песке.

Она целует меня, балуясь,
Я уеду, она — в Москве.
Что все мечты мои, все поцелуи?
Дом, построенный на песке.

Но как-то я удивился очень,
Прочитав в календарном листке:
«Как раз бывает особенно прочен
Дом, построенный на песке».

Снег колючий падает с веток...
Может, и правда, конец тоске?
И будет сиять таким чудным светом
Дом,
построенный
на песке?!

* * *

Сегодня в этой комнате
ты здесь, со мною рядом,
Меня своей улыбкою
и шуткою даря.
Но быстро время катится,
минуты дышат ядом,
И грустно осыпаются
листки календаря.
И скоро, скоро выпуск —
пятнадцатое марта,—
Зачеты, и бессонница,
и хлопоты, как чад.
Передо мной откроется
огромнейшая карта,
Собрания откроются,
и речи зазвучат.
И скоро я, как водится,
среди графленых линий
Впишу свою фамилию
взволнованным пером,
Надвину шапку на уши —
в такой вот вечер синий,—
Возьму, что полагается,
и выйду на перрон.
Куда бы ни умчался я —
к Сибири, к Казахстану
Или к седому облаку
на Северный Кавказ,—
Но я тебя, курносая,
любить не перестану,
Я в сердце увезу с собой
сиянье серых глаз.
Ты помнишь, Тоня, помнишь?
Когда тебя я встретил,
Такой полынной горечью
сверкал тогда твой взгляд.
В тебе два сердца бились,
мое же было третьим...
Оно стучало, правда ведь,
на задушевный лад?
Ты помнишь, помнишь время то,

когда сидел я около,
Молчанье, переписку
ты помнишь, Тоня, да?..
Мороз дышал на улице,
цвели сиренью окна,
И в сердце что-то искрилось
и прыгало тогда.
За этой темной лампочкой
ты сядь сюда и слушай.
Не надо недоверчиво
сжимать и хмурить бровь.
Бушует кровь в артериях,
и нас связал не случай,
А звонкая и свежая,
нелегкая любовь,
Не та любовь, с которою
и смейся и посвистывай,
Ходи себе по лестницам
и в сутолке туши,—
А та любовь, которая
как жар, как бред неистовый,
Как острое стремление
измученной души.
Весь этот пыл мучительный
не выражу стихами я.
Но ты не просишь этого,
ты чувствуешь сама
Мои ладони робкие,
мой взгляд, мое дыхание.
Биенье сердца мальчика,
сведенного с ума.
Я жду, что ты подымешься,
такая ж сумасшедшая,
И мне подашь порывисто
горячую ладонь!
Как злое и ненужное,
откинешь все прошедшее
И снова станешь радостной,
веселой, молодой.
Не понимаю, что со мной?
Я рад сегодня облаку,
Морозу, снегу, инею,
сверканию луча...

Какое счастье это вот —
идти с тобою об руку,
Идти с тобой и чувствовать
касание плеча!
...Я был бы всех счастливее,
но только вот что думаю:
Все это настоящее?
Иль это только бред?
И, может, на волнение,
на эту всю тоску мою,
Сурово отодвинувшись,
ты мне ответишь: «Нет!»
И после ночью где-нибудь,
рванув из-под Саратова,
Я вспомню все мечтания
и всю тоску свою,
Что жизнь с мученьем прожита,
что сердце расцарапано
И что цветут глаза твои
совсем в ином краю...

* * *

Гляди: уже по Лиственной,
Где институт мясной,
Тревожною, таинственной
Повеяло весной.

Уже ручьи забулькали
По всей аллее сплошь.
Отправишься за булками —
Не вытащишь калош.

Ворвался ветер в форточку
С заоблачных высот,
И умывает мордочку
На крыше серый кот.

Но виснет сердце гирею,
Лежит на сердце тень:
В далекую Башкирию
Я еду через день.

Средь гула, среди дыма я
Забудусь лн в тоске?
Но ты, моя любнмая,
Остаиешься в Москве.

В Москве, где все закружено,
Где звон, где шум, где гуд,
В Москве, где шелк, где кружево,
В Москве, где столько губ,

Где все огнямн залнто,
Где окна жгут, манят,
Ты позабудешь за лето
Мой исподлобья взгляд.

В Москве, где зори молоды,
Где столько лиц и встреч,
Забудешь очень скоро ты
Мою простую речь.

В Москве, где взгляды — омуты,
Где жизнь кипит, как кровь,
Другому ты, другому ты
Отдашь свою любовь.

Средь топота овечьего,
Средн сосиовых смол
Одиажды, синим вечером,
Я получу пнсьмо.

И строкн жгут больней огия:
«Сереженька, прощай!
Не мучь меня, забудь меня,
Не плакать обещай».

Пускай тоской н пламеием
Пахнет от этих строк,
Но с выраженьем камениым
Я буду сух и строг.

Я высунусь на улнцу
И погляжу вперед.
Грустнтся ль мие, тоскуется ль,—
Ннкто не разберет.

Рукою не усталою
Придвину микроскоп.
К холодному металлу я
Прижму горячий лоб.

«Она была б жена твоя,
И вот ее уж нет.
Так, сердце, рвись же надвое,
Пылай, жестокий бред...»

* * *

Ты скажешь «нет»? Ты скажешь «да»?
Пока — одно из двух.
Но, Тоня, помни: я всегда,
Всегда твой верный друг.
Я буду там, где должен быть,
Куда поставит класс,
Но мне нигде не позабыть
Сиянья серых глаз.

В далекую Башкирию...

* * *

Не приехала!.. Не проводила!..
Напрасно стоял я на платформе и ждал, ждал, глядел, глядел и так, и через очки, напрасно вглядывался в туман сквозь моросящий дождик — тебя не было. Я не сержусь, я знаю: что-нибудь помешало. Но все-таки как тоскливо в вагоне показалось, как тоскливо!.. Не подумай только, что у меня рука от тоски дрожит, нет, это поезд трясет меня, как котенка за шиворот, поэтому вместо букв — каракули.

* * *

Пусть трясет меня поезд как хочет, он все равно тебя из моей памяти не вытрясет. Тоня, шлю привет тебе и Славе, пиши мне, как живешь. Адрес писал тебе уже несколько раз.

* * *

Пишу со станции Инза.

Красивая фамилия у этой станции, правда? Поэтому и захотелось мне отсюда послать тебе открытку. Инза — красивая, и ты — красивая, как же не послать? Кроме того, еще одно: на прошлой станции ходил брать кипяток и увидел синий курносый чайник, ну точь-в-точь как у тебя, и очень ему обрадовался.

Но, однако, надо кончать открытку, а то поезд трогается и опустить не успею.

* * *

Пишу тебе, сидя в уфимском Доме крестьянина. Вообрази: полутемная низкая комната — мрачная, черная. Под потолком — одна маленькая электрическая лампочка. По стенам — сорок шесть железных коек, на

каждой — грязиый матрац н подушка. Желающий спать скидывает только сапогн и пальто; сапоги нз предосторожности убирает под подушку, а пальто нспользует в качестве одеяла. А затем издает более или меиее сильный храп, в зависимости от устройства мягкого нёба. Но ие думай, что все это меня угнетает, плюю я на такие пустяки. Тем более что стол есть, карандаш есть, бумага есть,— а чего мие больше иадо?

Сижу и пишу, только чувствую — долго не пропишу, потому что очень устал и глаза слнпаются, как медом намазанные.

О чем буду писать? Да все буду переносить иа бумагу, что только вспомиится, что в голову взбредет.

Как все-таки досадно, что ты на вокзал ие приехала! Я ждал тебя до последней мииуты, и когда поезд тронулся, унося меия от этого перроиа, может быть, иавсегда, то так иехорошо стало иа сердце...

Что было в дороге?

Номер поезда — сорок восемь,
Плацкарта — девять,
вагои — номер шесть...
Но это неважно,
а важио, что осень,
Что осеиь была у меия в душе.
Я жил хорошо,
я спать мог вволю,
Чнтал беллетристику,
пил и ел.
Чего же еще? Но с какой я болью
Тверднл одио слово
на букву «эл»!..
Оно иачинается, это слово,
На «эл»,
а оканчивается иа «ю».
А поезд везет меия сиова н снова
И поворачивает иа юг.
И вот
Рязань,
Рузаевка,
Инза
Уже промелькнули
сквозь лязг и дым,

И тает солнца желтая лннза
Над этим лесом,
иссиня-седым.
Неснсь же, поезд,
иесись же, поезд,
Под вздохи поршия,
под стук колес.
Не надо, сердце,
к боям готовясь,
Не надо,
ие иадо,
не надо слез...

В Сызрани иас ожидало приключеиие: вдруг на станцни вместо воды потекла страииая жидкость шоколадного цвета. «Какао»,— подумали мы сначала н хотели уже воздать должное начальннку станцнн за этот питательиый и вкусиый иапиток. Однако нас ждало разочарование. Это была просто-иапросто грязная вода.

— Ничего ие поделаешь — разлив!..— вздыхалн пассажиры н набнралн чайннкн.

Мы с Марусей воздержались и героически переносили жажду. Но иа следующей станцин повторилось то же, еще иа следующей — еще то же н так далее и так далее. Мы уже думали, не пересмотреть ли нам свое отиошение к этой жндкостн (рука ие поворачнвается иаписать «вода»), и жалели, что плохо в свое время виикали в микробиологию. Но в Самаре появнлась хорошая вода (Волга ие выдала!).

За Самарой показался первый верблюд, а еще дальше на одиой из стаицнй сверкнула иадпнсь: *Башгиз.*

Мы бросились к кноску, ио оказалось, что он торговал... коисервамн н селедками. Очевидио, Башгиз, счнтая, что книгами сыт ие будешь, решил замеиить нх чем-иибудь более пнтательиым. Я, как поэт, погрустнл об этом. Маруся же выразнла одобреиие и пожелала, чтобы иаш ГИЗ переиял хороший пример.

Сегодия к пятн часам иачалн подъезжать к Уфе. Ну и зрелище же нам представилось! Мы не знали, к Уфе ли мы подъезжаем илн к Венецнн. Разлнвом затопнло окраииы города, и теперь город был под водой. Улицы былн в воде, как...

Тоия, прости, милая, ио, право, иет снл подобрать

сравненне, уж очень спать хочется. Поэтому снимаю башмаки (кладу под подушку), завертываюсь в пальто и ложусь спать. А завтра буду продолжать.

* * *

Сегодня был в «Скотоводе». Каким дураком я был! Сколько времени был с тобою и не посоветовался: как же все-таки лучше — остаться в тресте или поехать в совхоз? Оказывается, много зависело от моего желания. Меня прямо спросили, есть ли у меня достаточный опыт, чтобы остаться инструктором в тресте. Я попросил послать меня в совхоз. Так и сделали. В какой — меня об этом не спрашивали, но обещали, что не в «тяжелый» совхоз. Послали в Баймакский (бывший Таналыкский). Ну что ж, я доволен. Что бы я стал делать в тресте, когда ничего не знаю и вдобавок ненавижу канцелярскую работу?

Одно вот только — как быть с твоим приездом? В Уфу тебе приехать было бы, конечно, удобнее. Так я раздумывал и колебался, но потом сообразил, что, работая инструктором, буду постоянно в разъезде. Поэтому ты могла бы приехать и не застать меня. А в совхоз приехать можно наверняка. Сообщение прямое: садись на магнитогорский поезд № 56, поезд очень хороший, не поезд, а чудо, и доезжай до станции Сара. Правда, от станции семьдесят восемь километров, но и это не страшно. Я за тобой выеду. Напиши, Тоня, свое мнение.

Что написать тебе об Уфе? Город неплохой, но глухой. Трамвая нет. Ходит автобус, но его редко встретишь, и всегда он набит, как дурак. Автобусы — большей частью грузовые машины, на которых сделаны скамеечки. В таком виде они носят название «открытых» машин.

«Вот идет открытый автобус!»

Извозчиков на улице много больше, чем в Москве. Автомобиль я пока видел только один — перед зданием ЦИК и СНК.

Все вывески и надписи на двух языках: русском и башкирском. Буквы башкирские — обычные латинские (проведена латинизация алфавита) с добавлением на-

ших оборотного «э», мягкого знака, фиты, яти и еще такого значка, которого у нас нет в алфавите, он похож на большое «i».

* * *

Напрасно я вчера иронически писал о грузовых автобусах. Они, оказывается, очень хорошие — ну, быстро едут, прямо чудо! — куда нашим косолапым с ними сравняться. И притом воздух охватывает все тело — так хорошо, приятно.

Ездил целый день по городу на автобусе, проехал по всем маршрутам (их целых два), да еще по нескольку раз. «Этим ты и занимаешься?» — спросишь ты. Да, Тоня.

Рот мой наполнен беспечным свистом.
Что мне? Брожу, ничего не делая.
Здесь надоест, так поеду на пристань,
Погляжу, как злится река Белая.

Получил командировку, деньги. Еду завтра, билет заказан.

Вчера получил в «Скотоводе» сто рублей, а то, признаться, с деньгами был кризис. Теперь ничего.

Улицы в Уфе пустынны. Только на одной улице, и то только по одной стороне, всегда густая толпа, как в Москве. Это на улице Егора Сазонова. На другом же тротуаре — пустынно. Почему так, неизвестно. Я думаю, уфимцы это делают из хитрости: хотят изобразить оживленную улицу, а понимают, что, если разбиться на две стороны, оживления не получится.

Вообще в этом городе многое по-семейному. Милиционеров нигде не видать; перед зданием Совнаркома бродят коровы; остановки автобуса ничем не обозначаются: свои люди, дескать, и так запомнят!

Оригинальные плакаты висят тут в некоторых магазинах. Над кассой электрический звонок и надпись по-русски и по-башкирски: «Сигнал! Предупреждает о появлении карманников!» Наивные же тут воры, если они боятся этих сигналов. Наши бы, сухаревские, уперли бы и самый сигнал.

Но не дурно бы кое-чему и Москве поучиться у

Уфы. Так, почти все магазины тут, в том числе книжные, культурные, универсальные, торгуют до 10—11 часов ночи.

В магазине Башгиза устроена читальня, где можно читать все новые журналы и книжные новинки. В парикмахерских установлены маленькие столики — ожидающие играют в шашки и шахматы.

Тоня, я стараюсь веселей писать. Но, право, на сердце грустно. Тоня, милая, родная, пиши! Я с таким нетерпением буду ждать от тебя писем.

* * *

Тоня! Три дня сижу на станции Сара, все никак не могу уехать. Сегодня, кажется, еду. Был нездоров эти дни, сегодня, кажется, лучше. Поэтому и не писал, а то за три дня безделья накатал бы тебе три тома всякой чепухи. И еще, знаешь, такая досада: оказывается, до станции Сара из Москвы без пересадки никак проехать нельзя. Но это не испугает тебя, Тоня, верно? По приезде в совхоз напишу тебе письмо, но и от тебя жду.

Адрес уточненный: Хайбуллинское почтовое отделение, поселок Макан, Таналыкский мясосовхоз. Не пиши Баймакский, потому что, оказывается, он еще не существует.

Я об одном жалею...

Не надо сердиться, ветер!
Ты знаешь,
    что мир велик.
Не только Москва на свете,
Существует и Таналык.
Ну что же...
    И здесь неплохо
По жилам струится труд,
И если велит эпоха,
Я буду работать тут.
Но я об одном жалею,
По жизни
    этой идя,

Что в Лиственную аллею
Отсюда
    пройти нельзя.
Нельзя
    скинуть кепку сырую,
Вбежать
    на четвертый этаж.
И я тебя не поцелую,
И ты мне
    руки не подашь...

На переднем крае

* * *

Дорогая Тоня! Как много хотелось бы тебе написать, но пишу торопясь, поздно вечером, воруя у себя сон, а у хозяйки керосин. Сон-то неважно, а вот за керосин-то как бы не влетело, керосина здесь мало, поэтому тороплюсь. Чем же я так занят, спросишь ты, что мне даже письма написать некогда? Да пока невеселыми делами. Занят я бумажно-чернильно-карандашной работой, а коровы своей еще ни одной не видел. Веду работу по организации совхоза. Ты же знаешь (или, по крайней мере, должна знать), что сейчас идет разукрупнение совхозов — вот и наш Баймакский совхоз выделяется вновь из состава Таналыкского совхоза № 142. Пока же Баймакского совхоза нет. Кроме того, сейчас меняется и структура совхозов: отделений не будет, участков не будет, а будут фермы стандартных типов по пятьсот и триста голов коров. Так что сейчас сижу и вывожу оборот стада по каждой ферме, план перегона скота, план сдачи мяса и масла по каждой ферме, экспликацию ее земельных угодий и т. д. и т. д. С этой-то работой я справляюсь, но вот дальше-то, Тоня, будет мне очень трудно. В совхозе беспорядок со скотом страшный, падеж телят зимой был пятьдесят один процент, поголовье в точности неизвестно, повсеместно хищение молока, в то время как план сдачи масла не выполняется. (Черт побери! Какие скверные чернила и бумага!) Но, впрочем, плакать не буду. Как я живу тут? Я думал сначала, что зоотехников уважают тут очень мало. Это я заключил из того, что на станции Сара по телефону просил лошадь, и мне ответили, что лошадей нет и чтобы я добирался как знаю. Поэтому когда я приехал в совхоз и пошел в дирекцию, то сделал самое умное лицо и постарался сесть так, чтобы не было видно дыры на брюках (ведь разорвались все-таки в дороге, черт побери!). Оказалось, однако, что громкое звание мое, обозначенное в путевке и дипломе — «инженер-животновод»! — произвело известное впечатление. Когда же узнали, что из всего выпуска я только

один попал в Башкирию, то уважение ко мне еще более поднялось и послышались реплики вроде: «Вот счастье нашему совхозу»,— так что мне даже стало неудобно и стыдно в душе за свои малые знания. Но ничего, постараюсь работать хорошо.

Мне немедленно дали записку в совхозную лавку с просьбой отпустить «что причитается, как специалисту по первой категории на пять дней». Я гордо пошел в лавку. Но оказалось, что «специалисту по первой категории на пять дней» причитается лишь буханка хлеба и пачка махорки, каковые мне и были вручены. И теперь вот я живу вместе с директором своего совхоза, вместе спим на полу, вместе голодаем и едим тухлую рыбу, скандалим из-за молока, которое нам плохо отпускают, и мечтаем о том, когда удастся уехать на нашу центральную усадьбу, или, вернее, на то место, где она должна быть.

Красивая ли тут местность? Не очень. По пути из Сары в Акъяр (65 верст) я встретил одно лишь единственное дерево, а то все степь, степь и степь. Впрочем, степью, пожалуй, в полном смысле слова назвать и нельзя: местность тут изрезанная — овраги, горки, ручейки. Говорят, что в нашем совхозе (он к северу отсюда) местность лучше, есть кустарник, хорошие горы, речки. Поеду, увижу и напишу тогда. Ой, Тоня, что-то лампа гаснет: кажется, керосин весь,— надо кончать. Пока до свиданья. Тоня, целую и ложусь, а завтра утром встану пораньше и допишу письмо.

Встал утром и продолжаю письмо. Тоня, может быть, ты не представляешь хорошо, где я нахожусь, так я тебе объясню. Я нахожусь всего 70 верст от Инякского совхоза, в котором была ты. Станция Сара расположена между Орском и Оренбургом, от этой станции 80 верст. И наконец, от Баймакских рудников, которые на любой карте пятилетки должны быть, тоже около 60 верст. Мы находимся на самой вершине Ирындыкского хребта. Видишь, сколько координат. Разыщи это место приблизительно на карте и поставь там точку, и будешь знать, что в этой точке бьется одно сердце, оно бьется любовью к тебе, Тоня. Тоня, как я по тебе скучаю, скорее бы хоть весточка от тебя пришла!

Я пока весел и здоров, на станции болел было и даже лежал, но сейчас здоров совершенно. А когда ле-

жал, плохо было, жар у меня был сильный; так что мне казалось, я всю комнату нагреваю, и чуть ли не бредил, и в бреду все ты была. А потом прошло, не знаю, что за бацилла в меня забралась, но спасибо ей за то, что скоро оставила.

* * *

Дорогие родители!

Это не письмо, а информация, потому что письмо писать некогда.

Где я?

В поселке Макан, центральной усадьбе Таналыкского мясосовхоза, в 80 верстах от станции Сара. Станция Сара между Орском и Оренбургом.

Здоров ли я?

Да, здоров, как нельзя больше.

Что я делаю?

Веду работу по разукрупнению совхоза и организации нашего Баймакского совхоза, которого еще нет.

Как я живу? Да что ж, очень хорошо. Не голодаю ли? Нет, не голодаю, ем прилично. Что за местность? Довольно однообразная. Степь и степь, лесов нет. Но погода хорошая, и воздух в степи замечательный.

Все? Вопросов больше нет? Считаю собрание закрытым. Если же у кого имеется вопрос или даже кто хочет выступить в прениях, пусть пишет по адресу, имеющемуся на конверте.

Мама, собираешься ли ты ко мне приехать? Если да, напиши, а я напишу, когда устроюсь.

Моим сестрам

Конечно,
в Крыму
впечатления пестры,
конечно,
в Москве
ощущения остры.
Но, уважаемые сестры,
мои дорогие
две сестры!

Сердце
не надо терять, однако,
сердце
все-таки надо иметь.
Не забывайте,
что возле Баймака,
где добывается мясо и медь,
где люди смуглы
и где лошади прытки,
где бродят стада,—
там живет и ваш брат,
и он
от сестер своих
даже открытке,
даже записке
был бы так рад.

* * *

На этом конверте вы увидите московский штемпель. Но не думайте, что я в Москве — о, нет! — далеко от Москвы и ехать туда не собираюсь. А письмо это должна опустить в Москве моя жена и опустит, если только не позабудет.

Письма я писал, но не отправлял, они и сейчас у меня валяются. Ведь я день и ночь ношусь по степям, а в степях почтовых ящиков не имеется, да и вешать их не на что, ведь деревьев-то нет. Но как бы то ни было, сегодня я намерен письмо написать. Только вот беда: писать письмо надо в самом жизнерадостном тоне, описывать самыми яркими красками, потому что я очень доволен и жизнью и работой — счастлив, что называется. Но тон такой сегодня не удается. Тоня уезжает, и на душе очень тоскливо. Поэтому длинно писать не буду.

Работаю сейчас старшим зоотехником совхоза, заместителем директора по животноводству. Работа мне нравится. Глупы были люди, которые жалели меня в Москве. Вот, дескать, человек окончил вуз, получил высшее образование и, пожалуйста,— едет в глушь, в деревню, в степь, в полудикие места, да еще на постоянную работу.

Что же, вот я в глуши, в степи, на постоянной работе — и очень доволен. Почему? Работать в Москве —

это шесть часов ежедневно сидеть в каменной коробке, что-то писать, считать и чертить, это нудно. Работать здесь — это значит носиться верхом на лошади, организовывать работу в гуртах, управлять совхозом. Это трудно. Но лучше трудно, чем нудно,— так я считаю. Собственно говоря, почти половина моего рабочего времени занята поездками верхом — да, вот это работа! Вы в Москве большие деньги заплатите, чтобы так поработать. И вообще работа живая. Труд зоотехника ненормированный, я не имею официально выходного дня, если нужно, должен ехать на «точку» в любое время дня и ночи. Плохо? А фактически получается так, что я сам распоряжаюсь своим временем, куда хочу, туда еду, не хочу — никуда не еду, целый день свободен, не чувствуешь себя связанным. А отпуск зато (за ненормированный день) полагается целый месяц. Вот красота!

Имею свою лошадь, имею квартиру. Правда, насчет питания не особенно пока хорошо. Вся еда — молоко и яйца. Ем молоко и пресное, и кислое, и сырое, и кипяченое, и простоквашу, и творог, отчасти яйца. Но при желании можно наладить тут и стол, и я налажу обязательно.

«Что за местность?» — спрашиваете вы. Да ничего местность, хорошая. Степи, горы, кустарники, реки. Дни стоят хорошие. Знаете что, приезжайте ко мне погостить.

Мама, приезжай обязательно и бери с собой кого-нибудь, у кого отпуск будет — Диночку *, я знаю, у нее «отпуск» или Нину, или Лиду, или Толю, или всех вместе. Приезжайте. Доехать можно так: с пересадкой через Оренбург или через Свердловск. Из Оренбурга поедете до станции Сара, всего 6 часов езды. Правда, от станции Сара до нашего совхоза 135 верст, но ходят автомашины. Спросите контору «Союзтранса», купите билет до Богачева и езжайте. Доедете великолепно, хотя и на грузовой машине. Квартира у меня есть, меня здесь всякий знает. Советую долго не думать, а сейчас же и собираться. Если не приедете, то пришлите мне посылку, а именно мне нужно:

— кровать (сплю на полу),

— копченой колбасы (давно не ел),

* Младшая сестра С. Чекмарева, в ту пору ей было четыре года.

— бумаги чистой (всю исписал),
— трусов,
— чаю (нет совсем),
— что вам еще заблагорассудится.

Ну, кажется, и пора кончать письмо. «Эге,— скажете вы,— нет, не пора! Ты объясни сначала, что за жена у тебя появилась. Уезжал из Москвы вроде холостым — и вдруг пишет о жене».

Женат я на студентке нашего же института. Она была замужем, разведена, и есть у нее маленький ребенок. Я не знаю, как вам это понравится, но меня это ничуть не смущает. Она очень хорошая женщина, ровесница мне по летам, и мы живем дружно. Приезжайте ко мне, она также скоро приедет, тут и познакомитесь. Я думаю, она вам понравится. Во всяком случае, я люблю ее и вполне серьезно намерен жить с ней.

* * *

Тоня, родная!

Давно бы пора получить от тебя письмо, а его все нет и нет. И каждый день на сердце прибавляется по фунтовой гире — все тяжелее и тяжелее. Вчера вечером приехал я из Киндерли — секретарь говорит: «Тебе письмо». Он сказал и сейчас же раскаялся в этом. Я не отставал от него и заставил несчастного человека прогуляться до конторы, отпереть контору, отпереть стол, разыскать письмо в ящиках стола. Но письмо оказалось не от тебя (от отца).

Что тебе написать о себе, может быть, рассказать, как доехал? Деньги, какие были, все благополучно истратил в Уфе, так что в вагоне очутился без денег. Правда, в кармане лежал «железный фонд» — 17 рублей на автобус, который я решил не тратить, несмотря ни на что. Напрасно в дороге соблазняли меня свежие огурцы и жареные куры, напрасно румянцем пылала вишня и бледнело от негодования молоко. Я стойко перенес все искушения, голодным сошел вечером с поезда и голодным улегся спать. Наутро голодный же помчался в «Союзтранс», и каково же было мое негодование — билеты подорожали, и до Богачева проехать стоило 20 рублей. Вот тебе и «железный фонд»! Я рассердился страшно, сейчас же пошел к вокзалу, накупил всякой

снедн на «железный фоид», а потом просто договорнлся с шофером н доехал за 10 рублей без всякого бнлета. Так «Союзтрансу» н надо!

Прнехал и получил открытку от Кости, в которой он сообщает, что отпуск вам продлен до четырнадцатого июля. Как досадио стало, как грустно! А ты так спешнла, не могла побыть лишиего дня. Но ладно, еслн ты используешь это время, чтобы попасть в августовскнй выпуск, то все будет хорошо.

Работаю, но работа ие ладнтся. Удои не повышаются, телята дохнут, а тут еще случная прн недостатке быков н гуртоправов. По-прежиему иошусь верхом, попрежнему выпаиваюсь молоком, сплю теперь не в комнате, а в сарае, в тарантасе. Днем иа седле, а ночью в тарантасе! Ночн дырявые, все тоскую по тебе. Скоро лн ты приедешь? Ах, Тоня, не надо было бы тебе вовсе уезжать, лучше бы осталась.

* * *

Еще н деиь ие начался,
Еще и тумаи над водой,
Но я уж в седле качался,
И шел подо миой Гиедой.
Я как будто удобно уселся,
Накормлеи, напоен н сыт.
Отчего же стучит мое сердце
Громче его копыт?
Еще далеко до дому,
Я косматую вижу зарю,
И я говорю Гиедому,
Я ему говорю:
— Гиедой, погляди-ка иа степь
За эти вон горы, туда...
Кобылу саврасой масти,
Наверно, ты помнншь, да?
Оиа ведь рядом с тобою
Шла н в галоп, и в рысь,
И отравой цвела голубою
Над нами бездонная высь.
Она ведь с тобою рядом
Шла и в рысь, и в галоп.

А Тоня светлела взглядом,
И падала прядь на лоб,
И падала прядь с фасонцем
На лоб у моей жены,
И рукн ее от солнца
И плечн обожжены.
Гнедой, ты, наверно, понял,
Ты понял ли, мой Гнедой?
Какая хорошая Тоня,
Какой ее взгляд молодой!
Гнедой, ты, наверно, хочешь
Увндеть бы хоть разок
И светлый ее внсочек,
И серый ее глазок?
Отдаться бы сладкому плену,
Послушать веселую речь...
Я знаю мечте моей цену,
Я умею любовь беречь.
Ременной подпругой сжала
Мне сердце тугая боль.
О, Гнедой, она убежала,
Убежала от нас с тобой!
Она забрала ребенка
И ускакала в Москву,
Оставила Даше гребенку,
А нам с тобою — тоску.
К белой бумаге неба
Прнложена солнца печать,
Подняться на облако мне бы
И до Москвы докрнчать:
«Ах, Тоня! Как сердцу горько,
Как хочется быть с тобой,
Когда за Сюсяевой горкой
Встает закат голубой!..»

Перехожу на прозу, но н прозой скажу то же. Тоня, мнлая, зачем ты уехала, очень грустно без тебя. Хоть бы письмо получить! Тоня, не жалей деньги, почаще на Сухаревку заглядывай, покупай масло, яйца, все, что есть. трать пока «те» деньги, потом вышлю. Сейчас сам снжу без денег.

Ну, пока до свидания. Крепко целую.

* * *

Пишу в Бурлях на листках блокнота. Прости, дорогая, что не писал так долго, но, право, эти дни набиты работой, я, как мячик, прыгал на лошади. Сдавал скот Мраковскому мясосовхозу. Это к лучшему — ведь трудно же работать тут, меньше скота — лучше. А все-таки знаешь, Тоня, когда поглядел я, как уходят гурты, пестрым стадом рассыпавшись по дороге, то жалко стало отдавать, и сердце невольно сжалось. И стыдно стало за свою работу, что ничего не ладится, и телята дохнут, и план сдачи молока не выполняется, и случная идет кувырком. Иногда оглянусь на свою работу — и даже удивительно: как я мог такие ошибки допустить, все время считал себя умным человеком, сообразительным во всяком случае, и вот такие ошибки. Но ведь до приезда сюда я в глаза не видал мясосовхоза. Однако я верю в себя и до тех пор буду работать в совхозе, пока не овладею необходимым опытом. Но сейчас-то пока очень трудно. Как мне хотелось бы работать с тобой рядом, вместе, чтобы ты мне помогала. Тоня, как же быть, как сделать так, чтобы мы вместе были? Как досадно мне, что ты не влилась в ускоренный выпуск. Это бы лучше всего было, а теперь ничего не придумаешь.

Конечно, если начать рассуждать, то все за то, чтобы ты послушалась группы и «выпустилась» с нею. Но если кончить рассуждать, то все за то, чтобы ты не послушалась группы и приезжала сюда. Я получил от отца письмо, ответ на то, которое ты опустила. Я перешлю его тебе, сейчас его нет со мной. Он меня поздравляет, желает счастья, хочет, чтобы ты к ним зашла, так что ты к ним обязательно заходи.

Не найдешь слов, которые выразили бы то, как я люблю тебя, как скучаю и жду. Вот и сейчас письмо не перечитываю: знаю, написал не так, не выразил, что на душе, но отправлю, потому что долго не писал.

* * *

Дорогие родители!

Увы! Отвечаю отнюдь не «немедленно» и не на том листе, который для этого предназначен. Но это неважно. Важно, что я по-прежнему жив, по-прежнему здоров,

по-прежнему работаю. Чего же написать еще? Разве рассеять немного ваши восторги перед моими чинами, что я уже старший зоотехник, замдиректора и т. д. и т. д. Дорогие родители! Одно дело быть старшим зоотехником в благоустроенном старом совхозе, другое дело — в таком, как наш. У нас в совхозе никого и ничего нет, во всем, чего ни коснись,— торичеллиева пустота. Поэтому работать очень трудно. Вы пишете: мама соберется, возможно, осенью! Увы! Соберется-то она, может быть, и соберется, но доберется ли она? Осенью начинается распутица, а не забывайте, что совхоз от станции в 135 верстах. Сейчас от станции мимо совхоза ходят автомашины, поэтому добраться до совхоза нетрудно, но осенью они будут ходить с перебоями, будут вязнуть или остановятся совсем. Нет, уж если ехать, то ехать не позже начала сентября. Я жду кого-нибудь — жду маму и Толю, приезжайте пить кумыс и поправляться. Что касается жены, то она сейчас в Москве, уехала оканчивать институт. Карточки ее послать не могу, но можете ее увидеть, раз она в Москве. Я говорил ей, чтобы она к вам заходила, но она не хотела, стеснялась, а теперь пишет, что зашла бы, но потеряла адрес. Адрес я ей послал. Думаю, вы ее не обидите. Возможно, она скоро ко мне поедет, можете с ней сговориться.

Напоминаю, что нужно привезти или прислать: бумаги побольше, фотоаппарат — продайте большой, купите маленький, а уже как он мне тут нужен! — альбом, наш выпуск — обязательно. И там чего сами сообразите.

* * *

Соцсоревнование принимаю и буду писать вам. Но опять-таки буду — а сейчас не пишу. Можете вы поверить, что времени совсем нет? Не верите? А все же сейчас так и есть. Сейчас сдаю скот на мясо (вам же в Москву) и день и ночь на гуртах, а как только попаду в Богачевку, сейчас же тащат в дирекцию на совещание или заседание. Кончилось заседание, и айда на лошадь — опять на гурты. Кончу сдачу на мясо, инвентаризацию скота, поставлю скот на зимовку — буду писать, а пока подробных писем не ждите — записочки разве. Вы пишете, не прислать ли мне чего? Я был бы не против, если бы вы прислали мою шапку и полушубок.

Сейчас я устраиваюсь так, что напяливаю на себя пять-шесть рубашек — одна на другую. И так как тайны своего туалета открываю не всем, то многие изумляются, как я могу в такой холод ходить в одной рубашке. Но, увы, даже десять рубашек не заменят одной шубы, у нас же в совхозе нет ничего, совхоз нищий, мы даже муку с перебоями получаем, у нас узд для лошадей не хватает.

Толя! Ты напрасно за судьбу своих писем беспокоишься, напрасно советской почте не доверяешь, все письма до одного получил и от десятого сентября тоже. Ответы у меня написаны, вернее, набросаны, некогда переписать. Но перепишу и пришлю. Пиши, продолжай.

* * *

Тоня!

Получил твое письмо. Очень доволен, что продлили вам срок обучения, теперь ты скорей решишься приехать. Нельзя же до октября 1934 года учиться. Ты пишешь — Слава болен, ты его и вовсе так погубишь, приезжай, Тоня, здесь ему будет лучше. Ты пишешь — намерена взять отпуск пятнадцатого сентября, а может быть, раньше можно? Ты пишешь — может быть, мне удастся вырваться. Тоня, куда я вырвусь, зачем я вырвусь? Что я буду делать в Москве? Нет уж, чтобы быть нам вместе, есть только один способ — тебе приехать сюда, поэтому приезжай, не медли. Сто рублей послал тебе в июле, за август — увы! — мне сорок семь рублей начислили, но все равно я вышлю скоро. Если будешь ехать, нужно будет много денег, я постараюсь достать. К родным заходила? Я посылал тебе в прошлом письме письмо отца. Если в сентябре поеду на совещание зоотехников, может быть, удастся заехать за тобой или ты приедешь в Уфу, оттуда поедем вместе.

Пиши, Тоня, чаще,— как Славочка, как учеба? Пока, Тоня, крепко обнимаю и целую.

Тоня, выпиши нашу многотиражку и собирай номера, когда приедешь, привези.

* * *

Долго не писал тебе и вот почему: начиная с первого сентября и по сегодняшний день все вожусь со сво-

ими призывными делами и никак не могу выяснить вопрос, иду я в армию или не иду? Поэтому и не писал: хотелось сначала узнать. Однако наверняка не знаю этого и теперь. Правда, прошел призывную комиссию, признан годным, зачислен в артиллерию. Пятого октября жду повестки и отправки в полк. Но дирекция хлопочет, чтобы меня оставить, и не знаю, удастся ли ей это или не удастся, пойду ли я в армию или не пойду.

Я тебя люблю, и поэтому на душе неспокойно. Как ни рассуждай, а все-таки горько становится: ведь это значит — мы с тобой долго-долго не увидимся. А может быть, и совсем не увидимся: кто знает?.. Ты помнишь, Тоня, как ты уезжала, как мне грустно было, а тебе весело, и ты на мою грусть сердилась, а я на твою веселость? Уже три долгих месяца прошли с тех пор. Уже три месяца я вхожу в свою опустевшую комнату, и мне не верится: неужели когда-то в этой комнате Тоня была, и неужели она будет когда-нибудь в этой комнате? Я уже позабыл цвет твоих глаз, Тоня, позабыл, как ты входишь, смеешься и разговариваешь,— а как хотелось бы все это повторить!

Тоня! За последний месяц ты мне только одну маленькую записочку прислала. Это мало, Тоня. Пиши больше, дорогая, пиши, как учишься, как живешь, какие изменения теперь в институте. Ползает ли Слава?

До свиданья (когда оно будет?)!

Святая Мятута

Я тоже когда-то в купели вопил,
И поп хлопотал надо мною,
Шептал и святою водицей кропил
И силой пугал неземною.

Недаром же он принимал столько мер,
Я должен был быть православным...
Но я комсомолец, мясной инженер,
Безбожник — и, право, славный!

Я сказку развеял о боге Христе,
Из крови и лжи свитую,

Забросил молитвы, забыл о посте
И только одну святую,

И только одну святую чту
И в сердце своем сберегаю.
Я к ней обращаю свою мечту
И ей молитвы слагаю.

И годы проходят, и сутки идут,
Летит за минутой минута.
Скажи мне, святая Мятута, ты тут?
Ты со мной ли, святая Мятута?

Когда я по парку ходил в тоске,
Паутиною страсти опутан,
С кем, скажи, я беседовал? С кем?
С тобою, святая Мятута!

Когда я в томленье бессонных ночей
Лежал и считал минуты,
Чей голос, скажи, утешал меня? Чей?
Твой, святая Мятута!

И даже теперь, когда теплой мечтой
Я, как теплою шубой, укутан,
Кто, скажи, помогает мне? Кто?
Ты, святая Мятута!

Я не знаю: ты вправду жила
Или ты выдумка Тони,
Но к тебе моя песнь летит, как стрела,
В тоскою звенящем тоне.

Ну, так не покинь же меня, не покинь!
Святая Мятута, ты тута?
В верховьях ли Волги, в низовьях Оки,
В Башкирии ль, где снега глубоки,—
Везде, где приходится круто,
Ты меня из тоски извлеки
И успокаивай: тута!

* * *

Тоня, зачем ты прислала мне этот снимок? И главное, зачем ты на этом снимке такая красивая и такая

похожая сама иа себя? Чтобы я больше тосковал по тебе? Но я и так миого тоскую, и с твоей стороиы бессердечио такие подарки делать.

Ну, ладио, прощаю на первый раз, сядь поудобиее и поговорим о самом главиом.

Тоия, ие иадо рассуждать. Еще слишком мало можем мы своей жизиью управлять, и одии обмаи эти рассуждеиия. Зачем ты себя мучишь, и Славу мучишь, и меия мучишь, и все это из-за чего? Чтобы окоичить вуз? А увереиа ли ты, что так будет лучше? Нет, Тоня, никогда ие иадо так себя ломать и мучить, как бы «разумио» это ни казалось. Если правда, что тебе тяжело там, то приезжай; ие дадут отпуска — приезжай все равио, брось учиться, можио закоичить заочио. Если ие тяжело, то учись, я ие хочу упреков с твоей стороиы, что заставил тебя бросить учебу. Тоиька, приезжай, право, я так по твоему звонкому голосу соскучился, по твоим теплым губам. Приезжай, пока ие холодио и не грязио, пока ие вязиут автобусы и не воют бураны.

Что тебе написать о моей жизни? По-прежнему захлебываюсь в работе. Представь, Тоия, к иам прислали бирки и щипцы для боиитировки, а я ие знаю, что с ними делать! Как бирковать, ие зиаю, и вряд ли кто зиает — вот оказия! Если зиаешь, напиши.

Хотел шестого августа ехать в Уфу иа совещаиие зоотехииков — был рад — думал, может быть, оттуда и в Москву проеду и Тоньку заберу, ио совещание отмеиили, переиесли иа сеитябрь. Такая досада!

* * *

Пушистый сиег,
Пушистый сиег,
Пушистый снег валится,
Несутся саии, как во сне,
И все в глазах двоится.
Вот сосеики,
Вот сосеики,
Вот сосеики иаправо,
А ты грустишь о Тосеиьке...
Какой чудак ты, право!
А иу пугии,
А иу пугии,
А иу пугии Гиедуху!
Пои–иже голову пригии,

Помчимся что есть духу.
Ведь хорошо,
Ведь хорошо,
Ведь хорошо в снегу быть —
Осыпал белый порошок
Твои глаза и губы.
На сердце снег,
На сердце снег,
На сердце снег садится.
Храни в груди веселый смех,
Он в жизни пригодится!

* * *

Пятнадцатого ноября приехала в Богачево Тоня. И только было начала она кормить меня котлетами и наводить в комнате беспорядок, только было приехала кровать, только было зашипел на лавке примус и на окнах повисли занавески — одним словом, только было началась тихая семейная жизнь, как вдруг... получаю я призывную повестку. В ней написано, что двадцать девятого ноября к 8 часам я должен явиться для отправки в войсковую часть. А что написано в призывной повестке, то должно быть сделано.

Ну что ж? Распростился я с совхозом, получил расчет, покинул незабвенную Богачевку и поехал в Акъяр. Там в первые же пять минут мне сообщили, что я зачислен в артиллерию и подлежу отправке в город Благовещенск (поищите по карте), а во вторые пять минут... освободили совсем от службы в Красной Армии (по глазам) и выдали военный билет на руки. Внезапно я получил возможность выбирать, что мне больше понравится: мог в Москву уехать, мог в Богачевку вернуться, а мог и не возвращаться.

Что я сделал? Я не уехал в Москву, но и в Богачевку не возвратился. Поехал сначала в Сакмарский совхоз, попробовал там устроиться — не вышло. Тогда поехал в Уфу, в Башскотоводтрест, и там после долгих споров получил путевку в Ииякский совхоз. В нем я сейчас и нахожусь и пишу настоящее послание.

Это факты. Теперь несколько слов о том, где я и в каком положении очутился. Ииякский совхоз расположен в 150 километрах к востоку от Оренбурга в очень живописных местах. Здесь и горы, и пропасти, и леса, и реки; летом здесь цветет черемуха — целые заросли, и ягоды растут в неисчислимых количествах (по слухам). Правда, сейчас к нам в Ибряевку добраться довольно трудно — от станции 80 верст, а в бураны это ой-ой-ой — и вам, милые друзья, ко мне не добраться. Но приезжайте летом, если я просуществую тут до лета, и, честное слово, не пожалеете.

Это в смысле поэзии. А в смысле прозы — это одии из самых хлебородных и богатых районов.

Что же касается моего положеиия, то оно далеко ие такое живописное. Ехал я в Красиую Армию иа все готовое, поэтому с собой иичего не взял. Сейчас у меня нет даже смеиы белья, иет одеяла, иет ложки с кружкой, ие говоря уже о чем-ибудь другом. По пути сюда остаиовился в Саре, думал в Богачево заехать, кое-что взять. Но начались бураны, машины встали. Я посмотрел на 140 верст бушующего снежиого простраиства, покачал головой и поехал как есть. Не пропаду!

Что же Тоия? Она осталась в Богачевке, работает там старшим зоотехиком (иа моем месте). Недельки через две думаю взять пару лошадей и съездить за ией. Вы не думайте, что я забрался далеко от прежнего совхоза. Нет, всего 110—120 верст, то есть меньше, нежели от Богачевки до Сары. Потихоньку я диен за шесть переправлю ее сюда, а заодио и кровать и все манатки, и опять иачнется тихая семейиая жизнь и т. д. и т. д., если только опять кто-нибудь меия ие погоиит.

* * *

Итак, дорогая Тоня, я уже в Ииякe. Описывать местность тебе ие буду, ты лучше меия ее зиаешь.

Теперь все мои мысли устремлеиы иа одио: как бы тебя сюда перетащить? Сижу в башкирской избушке, гляжу иа беспредельиое сиежиое пространство, которое иас разделяет, и тоска иевольио падает на душу; думаю: иеужели до лета? Неужели всю зиму врозь? Нет, ие может быть, Тоия, ты не испугаешься путешествия сюда. Я иахожусь от Зилаира всего в 35—40 верстах, а ты от Зилаира — в 60—70 верстах, итого 100—110 верст между мной и тобой — это можио преодолеть. Приеду за тобой иа лошадях, Тоня, я думаю, двое саней — и все увезем и сами уедем. Славку укутаем потеплее, в каждом селе остаиавливаться будем, в бураи ие поедем — потихоньку переселимся. Я бы, ие теряя ии дня, хоть завтра же отправился за тобой, ио этому мешает целый ряд причии:

1) 1500 рублей. Как с их покрытием? Прислал ли кто-ибудь денег? Не разыскалась ли посылка? Или иеужели же из-за этого ждать, пока я иакоплю денег?

2) Мое положение пока неопределенное. Тут старший зоотехник уже есть — и парень сильный, дирекция им довольна. Сейчас он в отпуске. Кто говорит, что он не вернется, кто говорит — вернется; но, если вернется, не получилось бы недоразумения. Придется подождать.

3) Квартиры здесь, в Ибряеве, нет, и разыскать ее очень трудно. Я уже думаю, не поместить ли тебя где-нибудь на ферме?

В общем, пиши, Тоня, жду от тебя вестей. Адрес: станция Саракташ, п/о Кугарчи, село Ибряево.

Живу пока плохо — ведь ни одной даже пары белья нет с собой, так что сплю не раздеваясь, бурки грозят разделиться на две совершенно автономные части. Но это все ничего, Тоня, это неважно, а главное — тоскую по тебе, Тоня, это важно. Не скажи ты: «не приезжай» перед моим отъездом, я был бы в Богачевке теперь. Лучше было бы или хуже?

Еще не объезжал совхоза, объеду — напишу о положении дел.

Пиши, Тоня, жду, целую. «Бурухе» передай привет.

Размышления на станции Карталы

И вот я, поэт, почитатель Фета,
Вхожу на станцию Карталы,
Раскрываю двери буфета,
Молча оглядываю столы.

Ночь. Ползут потихоньку стрелки.
Часы говорят: «Ску-чай, ску-чай».
Тихо позванивают тарелки,
И лениво дымится чай.

Что же! Чай густой и горячий.
Лэкин карманда акса юк,
В переводе на русский это значит,
Что деньгам приходит каюк.

Куда ни взглянешь — одно и то же:
Сидят пассажиры с лицами сов.
Но что же делать? Делать что же?..
Как убить восемнадцать часов?

И вот я вытаскиваю бумагу,
Я карандаш в руках верчу,
Подобно египетскому магу,
Знаки таинственные черчу.

Чем сидеть, уподобясь полену,
Или по залу в тоске бродить,
Может быть, огненную поэму
Мне удастся сейчас родить.

Вон гражданка сидит с корзиной —
Из-под шапки русая прядь,—
Я назову ее, скажем, Зиной
И заставлю любить и страдать.

Да, страдать, на акацию глядя,
Довольно душистую к тому ж...
А вон тот свирепый усатый дядя
И будет ее злополучный муж.

Вы поглядите, как он уселся!
Разве в лице его виден ум?
Он не поймет ее пылкого сердца,
Ее благородной... Но что за шум?

Что случилось? Люди свирепо
Хватают корзины и бегут...
Потом зажигается много света,
Потом раздается какой-то гуд.

И вот, промчав сквозь овраги и горы,
Разгоняя ночей тоску,
Останавливается скорый —
Из Магнитогорска в Москву.

Чтоб описать, как народ садится,
Как напирает и мнет бока,
Конечно, перо мое не годится,
Да и талант маловат пока.

Мне ведь не холодно и не больно —
Они уезжают, ну и пусть!
Отчего же в душе невольно
Начинает сгущаться грусть?

Поезд стонт усталый, рыжий,
Напомннающнй лнсу.
Я подхожу к иему поблнже,
Прямо к самому колесу.

Я говорю ему: — Как здоровье?
Здравствуй, товарищ паровоз!
Я заплатил бы своею кровью
Сколько следует за провоз.

Я говорю ему: — Послушай
И поймн, товарнщ состав!
У меня болят от мороза ушн,
Ноет от холода каждый сустав.

Послушай, друг, мие уже иадоело
Ездить по степн вперед-иазад,
Чтобы мне вьюга щеки ела,
Ветер выхлестывал глаза,

Жнть зимою н летом в стаде,
За каждую телку отвечать.
В коице концов, всего не наладить,
Всех буранов не перекрнчать.

Мне глаза залепила вьюга,
Мне надоело жнть в грязи,
И, как товарища, как друга,
Я прошу тебя: отвезн!

Ты отвезн меня в ту столицу,
О которой весь мнр говорит,
Где электричеством жизиь струится,
Сотнямн тысяч огией горит.

Я не вставал бы утром рано,
Я прочитал бы киижек тьму,
А вечером шел бы в зал с экраном,
В его волшебную полутьму.

Я в волейбол играл бы летом
И только бы песни пел, как чиж...
Что ты скажешь, состав, на это?
Неужели ты промолчншь?

Что? Ты распахиваешь двери?
Но, товарищ, ведь я шучу!
Я уехать с тобой не намерен,
Я уехать с тобой не хочу.

Я знаю: я нужен степи до зарезу,
Здесь идут пятилетки года.
И если в поезд сейчас я влезу,
Что же со степью будет тогда?

Но нет, пожалуй, это неверно,
Я, пожалуй, немного лгу.
Она без меня проживет, наверно,—
Это я без нее не могу.

У меня никогда не хватит духу —
Ни сердце, ни совесть мне не велят —
Покинуть степь, гурты, Гнедуху.
И голубые глаза телят.

Ну, так что же! Ведь мы не на юге.
Холод, злися! Буран, крути!
Все равно сквозь завесу вьюги
Я разгляжу свои пути.

* * *

Здравствуй, Лида!

Поздравляю тебя с Новым годом и с началом второй пятилетки. Как жаль, что тебе этот год пришлось встретить без работы. Правда, в этом отношении ты стала лучше: с тех пор как не работаешь, чаще стала писать мне. Но боюсь, что это твое рвение скоро остынет, если я не буду отвечать, поэтому и принимаюсь за настоящее письмо.

Что рассказать тебе сегодня о моей житухе в этой стране — стране, где лучший друг человека баран, а злейший враг — буран? Может быть, о буранах? Я рад, что перебрался в эти края, густо заросшие лесами, в эти горы, давно не бритые, покрытые мохнатыми елками и колючим сосняком. Здесь зато можно не бояться буранов, а в степи они наведут ужас даже на храбреца.

Да и как не нспугаться, когда закрутнт так, что едешь на лошадн и не вндншь лошадн, н не поннмаешь уже: лошадь лн тебя везет нлн ветер толкает санн сзадн, а лошадн-то и нет?

Недавно под Баймаком был страшиый буран, во время которого немало померзло людей. И замерзалн не где-ннбудь в нсобозрнмом пространстве, а в двух верстах, в полуверсте от дома. В Баймаке замерзли даже две школьннцы по пути нз школы домой. В такой буран можно выйтн нз избы к соседу напротив — н заплутаться, попасть в огород — и замерзнуть там. Тоня, между прочнм, в этот буран была в Богачеве и тоже заблуднлась в деревне, не нашла дорогн нз конторы домой. Вот как.

Ну, здесь буран ие страшен, мы в шубе из мохнатых гор и в теплой лесной фуфайке. Правда, мороз тут бывает крепчайшнй — по количеству градусов равияется русской горькой. И мороз этот не любнт, чтобы кто-нибудь совал нос в его дела. В этом, к несчастью, я сам имел случай убеднться: поморозил иос, и сейчас он лупнтся в ущерб красоте. (Но ничего: я человек уже женатый.)

Что делал я в этот месяц? Провел его на санях. Объезжал гурты (в общей сложностн иадо сделать верст триста), а потом ездил в Богачево за Тоней. Привез благополучио. Славка тоже невреднм. Вот герой, которому еще года нет и который уже 10 тысяч верст по железной дороге проехал и 700 верст на автомашиие н лошадях.

Можно бы еще многое иапнсать, но не все сразу. Кое-что отложу до другого письма. Пншн, Лнда, как жнвешь, а также что за жнзнь сейчас в Москве. Работу не нашла еще? Хочешь, прнезжай ко мне в совхоз; может быть, смогу тебя устронть иа стройработе. Насколько это возможно и что за работа, узиаю н иапишу в следующем пнсьме, ио могу поручнться, что тут интереснее будет, чем в Москве. Очень рад бы тебя увидеть. Очень хотел бы видеть маму и Днну. Думаю, что весной они меня иавестят. Какая Дниа теперь стала и помннт ли она еще меия? Что-то папа давно мие не писал, и я не зиаю уж, где и как он работает, как вы живете в общем. Мы живем ннчего. Правда, в городе Ибряеве квартириый крнзис, ио унывать н худеть не думаем.

* * *

Аруме! *

Что же, товарищи, не начинается ли уже весна? Тепло, снег тает. Но есть в нашей природе некоторое ехидство, почему ей не приходится слишком доверять. Здесь существует пословица: «Подходит марток, надевай трое порток»,— и верно, что недавно совсем морозы были в 43 градуса. Что еще сказать вам о погоде? Здесь, говорят, весной отрезает наше село от всего мира, так что не пройти и не проехать на лошади; реки у нас кругом, и под окном у меня река. Поживем — увидим.

К нам приехал новый директор, недавно окончилась приемка. Объехать весь совхоз — это значит проделать, считая взад-вперед, около 400 верст, и я имел удовольствие лишний раз совершить это путешествие. Вообще мне больше приходится ездить и мало приходится бывать дома.

Как живем? Пожалуй, поторопился я похвастаться, что живу в самом плодородном углу Башкирии. Плодородный-то он плодородный, но как раз в этом году поставлен в неблагоприятные условия. Соседний с нами Саракташский район почти весь свой хлеб вывез на хлебозаготовки. Как это получилось — даст ответ закончившийся недавно процесс райзо. Райзо нарочито показало повышенные нормы урожая, в результате чего район остался без хлеба. Заведующий райзо осужден (бывший кулак). Как-то быстро хлеб скакнул в цене вверх, и сейчас пуд ржаной муки дошел до 130—150 рублей, картошка — от 20—25—30 рублей. В совхозе хлеб мы получаем с перебоями. Вчера, например, только получили наряд на март, вдобавок норму уменьшили. Раньше получал я 17 килограммов муки, теперь — 12 килограммов, а на иждивенцев теперь 6 килограммов. Все это я пишу отнюдь не для того, чтобы вас напугать, а просто для информации. С голоду мы не пропадем, получаем в совхозе и картошку и молоко, да и купить тут можно кое-что: зайцы по 5 рублей, масло по 8 рублей фунт, мясо по 3—4 рубля фунт. Цены, наверно, не отстают от ваших, московских.

В общем, я живу пока хорошо, не скучаю. План по

* Приветствие по-башкирски.

маслу на первый квартал выполнили уже на 290 процентов (ешьте на здоровье!), телята пока все живы и здоровы, чего и вам желают.

С чем плохо — это с культурой: газеты доходят плохо, книг нет совсем. И никто из сестер и братьев не догадается прислать хоть несколько книжек. В общем, вы по почерку видите, что письмо у меня не ладится. Я долго не писал, посылаю как есть, через недельку напишу еще. Буду писать чаще.

* * *

Толя!

Прежде всего разреши тебя успокоить: все твои письма я получил, начиная с «PPS» и кончая 30-й страницей дневника. Ты посылаешь их заказными, но это только бесполезная трата марок, так как у нас в Башкирии в таких тонкостях не разбираются. Все равно мне приходится плясать за каждое письмо, но это ничего, пиши больше, может быть, таким образом я и плясать выучусь. Я был рад несказанно твоим письмам. Столько времени я уже не писал ничего и не читал, только ходил с уздою да перегонял коров с места на место. Очень доволен, что тебе вдруг пришла мысль вести дневник и мне его пересылать. Буду следить за ним с большим интересом. Взамен буду посылать тебе нечто вроде своего дневника, пусть эти листки послужат его началом. Но прежде чем (и для того, чтобы) начать рассказ о своих башкирских приключениях, хочу написать тебе о твоем дневнике и возразить кое-что.

Итак, начинаю по порядку.

1. Ты пишешь: «Дневник организует человека и помогает ему развиваться».

И дальше: «В дневнике человек складывает все ценнейшее от своей жизни, все свои наблюдения, вырабатывает путь своего развития через посредство дневника (организации и изучения себя)».

Милый друг! Тот коридор твоего мозга, в котором эта мысль зародилась, по-моему, срочно нуждается в починке, потому что это самая дикая белиберда. Откуда взял ты, что человек вырабатывает путь своего развития «через посредство дневника, организации и изучения самого себя»? Что за понимание самого себя за

волосы? Разве не в самой жизни, не в процессе классовой борьбы вырабатывается человек? И неужели ты серьезно думаешь, что ценнейшее в жизни человека — это его дневник? Лучше разве было бы, если бы выдающиеся деятели науки, политические деятели не боролись, не изобретали, не работали, а только писали свои дневники? Что было бы, если бы Эдисон телефона не изобрел, а оставил лишь нам свой дневник? Если бы кочегар не подбрасывал угля в печь, а писал бы свой дневник? Нет, дорогой, ценнейшее в жизни человека — это работа его, а не дневник, это жизнь его, а не дневник, это борьба его, а не дневник. А что такое дневник? Есть ли это средство самовоспитания, как ты пишешь? Но **ведь главное сейчас в воспитании, чтобы человек знал и любил свою работу, чтобы он умел хорошо выполнять свою работу, чтобы он перспективы всей нашей гигантской стройки видел за этой работой и чтобы он вместе, в ногу шел со всем нашим многомиллионным коллективом.** При чем же тут дневник и где тут место дневнику? И дневник не метод самовоспитания, а метод самокопания. Это для «интеллигентов» (в ругательном смысле), «изучающих» самих себя и копающихся в глубинах своей психологии,— вот какой, дескать, я гадкий еще человек, какой слабовольный, какой поступок я совершил. Это для барышень, влюбленных в Дугласа Фербэнкса. Ведение дневника — это следствие того самого лицемерия, которое присуще буржуазному строю. Это лицемерие толкает человека на то, что хотя бы с самим собой быть откровенным, «душу излить».

Итак, что же о дневнике? Если бы, скажем, Лида или Нина прислали мне письмо и написали мне, что они дневник ведут, чтобы «организовать» и «воспитать» себя, я бы им честно и прямо сказал: «Бросьте! Вы воспитываете себя не так, как нужно». Тебе (и себе) я так не говорю, а говорю: продолжай! Почему? Потому что моя (и твоя) жизнь неразрывно связана со словом, с этими вот лиловыми чернилами, с этими вот крючочками, и оторвать ее от этого нельзя. Моя жизнь (и твоя по всей вероятности) как-то неотделима от ее описания. Когда со мной что-нибудь интересное случается, мне невольно думается, как я это опишу. Я слежу иногда за собой, как за героем романа, думаю: «Вот это завяз-

ка»,— гадаю, как пойдет дело, лишь для того, чтобы все это описать. Поэтому и тебе нужно вести дневник, и мне нужно. Это необходимо. Но не смотри на дневник как на средство воспитания в себе человека. Тебя жизнь воспитает, глубже в нее окунайся. А писать — пиши, пиши и пиши, и шли мне, я буду слать тебе. Из наших двух дневников получится интересное сплетение. Надеюсь, ты будешь так же аккуратно складывать мои листки, как я твои.

2. Об откровенности дневников. Почему, если напишешь совсем откровенный дневник, и стыдно и неприятно его показывать? Тут дело не в лицемерии, которое «с душой срослось», как ты пишешь. А по-моему, тут дело объясняется так. В дневнике человек открывает свою душу. Так! Но как ее открыть? Скажи, как? Ведь это не печная заслонка: взял да и открыл. Это сложная, очень сложная вещь — мозг, и думы, и мечты человека. А слово — такая грубая вещь для того, кто не умеет с ним обращаться. Поэтому так и получается. По-моему, все откровенные дневники фальшивы, и фальшивы тем, что человек на себя клевещет. И главное не в том, что трудно, например, описать то или иное чувство, а в том, что надо как-то соразмерять мысли, что они не одинаковы как-то по тяжести, что ли, по удельному весу,— не знаю, как это объяснить. Вот, например, я гляжу на девушку. Она улыбнулась — мне приятно; она, скажем, высморкалась — ведь не одинаково это по удельному весу. Это рябчик пополам с конниной. Знаешь этот анекдот? Подают в ресторане жареных рябчиков пополам с кониной, а пополам делают так: один рябчик, одна лошадь. Вот и мысли у нас — рябчики и лошади, и если их одну за другой записать, получится фальшь. Рябчика-то и не почувствуешь, а может быть, он самый главный у тебя в душе. Поэтому я говорю: совсем, совсем откровенного дневника быть не может, потому что это под силу только гению. Если человек хочет вести откровенный дневник и хочет написать, как он ночью, скажем, струсил позорно, я скажу: остановись, не пиши, ты на себя клевещешь. Прежде чем описать этот случай, ты напиши сначала книгу о своем детстве, о том, что составляет тебя, чтобы твое описание трусливого поступка было на фоне твоей жизни.

Поэтому, если кто-нибудь, увидев мой дневник,

спросит, насколько откровенен, мол, дневник, я скажу: настолько, насколько хватило у меня... литературного мастерства. Я изобразил свои чувства, и мысли, и думы как мог, но... некоторые пропустил, потому что не нашел им коэффициента соизмерения, если можно так сказать. Не знаю, понял ли ты меня или нет.

3. О полной будто бы откровенности в коммунистическом обществе. «Тогда не будет замкнутости»,— как ты пишешь. А что, если это не так, дорогой товарищ? Есть такая песня, очень популярная, но в ней есть слова, которые мне кажутся неправильными:

Наш паровоз, вперед лети!
В коммуне остановка..

Я всегда невольно улыбаюсь, когда так поют. Мне хочется сказать: разве же в коммуне нашему паровозу остановка? А по-моему, он только тогда полным ходом пойдет. Товарищи, ведь это рай так представляли: полный мир и покой, лицезрение бога и пение херувимов. И коммунизм — паровозу остановка, полное счастье и равенство всех людей и полная их откровенность, без всякого лицемерия. Нет, Толя, а если не так? Я убежден, что и при коммунизме люди будут лгать, и хитрить, и страдать; что парни будут обманывать девчонок, а девчонки — парней, что и горько, и тяжело порой будет приходиться, да и поплакать кое-кому придется.

Чего же не будет при коммунизме? Не будет капитализма, не будет его страшного следствия, когда взрослый веселый человек с крепкими руками умирает с голоду, когда маленькие дети синеют и чахнут, когда человек тупеет от работы, когда все лучшее затаптывается в грязь, когда человеку — ты понимаешь? — родившемуся человеку, веселому малютке с голубыми глазами, который, может быть, много создал бы и изобрел бы, не дают развиваться, его голодом морят, его забивают. Потом он тупеет от работы, от водки, он затаптывается в грязь. Вот этого не будет, этого не должно быть.

4. О полном человеке. Ты говоришь: «Полный человек — по-старому гений». А по-моему, не гений, а полная ему противоположность.

Гений узок: у него или только ухо — он музыкант, или одни глаза — он художник, и больше он ни о чем на свете не думает, и так и надо ему больше ни о чем не думать. А полный человек — это нечто совсем другое. Это человек всесторонне развитый — физически, умственно, способный глубоко чувствовать, обладающий хорошими моральными качествами: смелостью, правдивостью, чуткостью и т. п.

Я тоже хочу быть таким человеком. Это трудно, но я хочу. В детстве я мечтал быть гением,— неверно мечтал, думал, как дважды два, что буду знаменит. Но вот мне двадцать два года, и я не знаменит. Более того, теперь я полным человеком хочу быть. Я прежде всего хочу любить, а потом уже писать про любовь, прежде хочу видеть, жить, потом уже писать о жизни. Первую половину жизни я буду писать для себя, вторую — для всех. Что до славы, то слава будет. Разве это не слава — уважение окружающих людей?..

О журнале

Многие люди говорят —
И, кажется, это правда,—
Что в Москве
световые рекламы горят,
Издается газета «Правда».
Но в Ибряеве, здесь у нас,
Таких вещей не бывает,
Лишь кривит луна
свой единственный глаз,
Да буран завывает.
В чем же дело? Бумага есть,
Чернил — около литра.
Давай издавать журнал и здесь,
Это не очень хитро.
В такой пустыне,
в такой глуши,
В тиши
такого селенья
Даже мои стихи
хороши,
Даже твои творенья.

О вреде путешествий

В наше время люди любят путешествовать — вернее, перемещаться с места на место. И главное — что они не сознают вреда таких перемещений: наоборот, распространено ложное мнение, что они полезны и будто бы воспитывают и обогащают ум человека.

— Зачем вы переменили место работы? — спрашиваем мы и часто получаем ответ:

— Надоело сидеть на одном месте.

В действительности же такие перемены мест не обогащают ум. Представьте себе человека, который большую половину своей жизни провел на хуторе Аксаир. Пусть человек этот, сидя сейчас в Москве, скажем, за кружкой пива, услышит от другого, рядом сидящего, знакомое слово — название своей деревни. Как вы думаете, сверкнут при этом его глаза или не сверкнут? Сверкнут обязательно!

Вы можете, наблюдая подчас за беседой двух людей, за их жестами, глазами, подумать: «Вот люди говорят о самом задушевном», но вот вы подходите ближе и с удивлением слышите, что весь разговор состоит преимущественно из названий сел, речек и оврагов, что люди горячо спорят о расстояниях между деревнями, о дорогах. И у них глаза блестят при этом. А вы отойдете, скучая. «В чем же дело?» — подумаете вы.

А дело в том, что, когда человек подолгу живет на одном месте, место срастается с душой и становится частью его самого. Вот когда душа человека обогащается, а не тогда, когда мимо пролетают пейзажи, люди и звери! Защелканная и замученная, хиреет тогда душа, и жалок человек, который провел всю жизнь в передвижениях. Он был в Туркмении — и не знает Туркмении, был в Армении — и не знает Армении, был в Башкирии — и не знает ее.

Я вовсе не рекомендую людям всю жизнь сидеть на одном месте. Но я бы разрешил человеку уехать из своего района тогда, когда он каждый куст и каждый родник будет знать. Вот такое путешествие, когда человек живет в стране, а не проезжает по стране, живет три-четыре года на одном месте,— такое путешествие развивает. А «любители» перемены мест напоминают мне читателей, которые, вместо того чтобы прочесть

книгу, слегка просматривают ее и знакомятся лишь с именами главных действующих лиц.

* * *

Тебя мне даже за плечи
не вытолкать из памяти,
Пусть ты совсем не прежняя,
пусть стала ты другой,
Но переливы глаз твоих,
и губы, цвета камеди,
В сознанье озаряются,
как вольтовой дугой.
Я буду помнить корпус наш,
шаги твои по Лиственной,
Холодное молчание,
горячие слова.
Там пруд пылал, как озеро,
и бред казался истиной,
И от улыбки чуточной
кружилась голова.
Она, любовь, с тобой у нас
не распускалась розою,
Акацией не брызгала,
сиренью не цвела.
Она шла рядом с самою
обыкновенной прозою,
Она в курносом чайнике
гнездо свое свила.
Она была окутана
лиловым чадом примуса,
Насмешками приятелей
и сутолокой групп...
Но на душе тоска была,
и я в огонь бы ринулся
За искорку в глазах твоих,
за очертанье губ.
Теперь с тоскою кончено.
Теперь твои артерии
С моими перепутаны
и переплетены.
И как рисунок бабочки
на шелковой материи,
Над нами тень раскинулась
ибряевской луны.

Скажи мие, неужелн ты
    со скукой смотрншь иа небо?
И жизнь тебя измучнла
    н кажется сера?
И как в реку бросаются,
    ие глядя, хоть куда-ннбудь,
Бежать тебе хотелось бы
    из этого села?
А мие минуты кажутся
    чудесными н гордыми,
По книгам буквы ползают,
    беснуется метель,
И лошадн проносятся
    с опущенными мордами,
И избы озаряются
    улыбками детей.
По «точкам» путешествовать,
    не брезговать помоями,
С директорами ссориться,
    с кобыламн дружнть —
Не знаю, как по-твоему,
    но, Тонечка, по-моему,
Все это, вместе взятое,
    н означает — жнть.

Лошадь

Очерк

Когда я приехал в Богачевку, то имел о лошади самое смутное понятне. Горожанин, воспитаннк Москвы, я прнвык видеть перед собой умную морду трамвая, с ней сжился и сроднился. Я не опасался его нисколько, этого только с виду страшного чудовища. Я научился на лету хвататься за поручни, висеть на ступеньках, прииикая к холодному железу, протискиваться через непроницаемую толпу. Я знал, какой из бесчисленных номеров куда идет, знал все привычки трамваев и хитрости (а трамваи тоже пускаются на хитрости).

И вдруг вместо всего этого — лошадь. Я не знал лошади, а верхом на нее не садился ни разу. Трудное или легкое это дело? Иногда мне казалось, что это легко: что ж такого, сел н поехал. Но я вспомнил, что существуют для чего-то школы верховой езды, что есть ка-

кие-то правнла и законы, что Молчалнн в «Горе от ума» упал с лошади («Поводья затянул, иу жалкий же ездок!»),— и меня брала невольная боязнь. А тут еще коия для меня припасли — жеребца — очень свирепого по всем описаииям. Вот уж истиино удружили! Я говорю: по описаниям, потому что, к моему счастью, его в это время ие было на участке — угнали на посевиую. «И что за глупость сделалн! — возмущался завучастком.— Зиали, что едет днрекция, и угналн самую лучшую лошадь иа посевную!»

Я изображал иа лице иегодованне, но в душе был очеиь доволен таким оборотом дела и скромно довольствовался леиивым н упрямым серым коием.

С иеделю, кажется, езднл я в тарантасе, ио наконец решительиый момеит иаступил. Предстояло ехать на пятую ферму, дороги категорнчески протестовали против экнпажей всех вндов, да и в коице коицов иадо же было когда-ннбудь начать?

— Оседлайте мне лошадь! — сказал я небрежно, как будто всю жнзнь только тем и заиимался, что давал такие указания.

Пошли седлать, а я нарочио закашлялся, чтобы заглушить бнение сердца. Боялся я главиым образом того, что при выезде моем нз деревни случится что-нибудь смешиое, что послужит вовсе ие к повышеиию авторитета товарища Чекмарева — старшего зоотехиика и заместнтеля директора совхоза. С какой бы охотой я вывел лошадь за две версты от деревии и только там попробовал бы влезть на нее!

— Готово. Больно леиив только,—сказал коиюх, хлопая Серого по крупу.

Но я, иаоборот, молнл благодетельиую леиь спуститься на лошадь еще в большем количестве. «Сумею ли я хоть влезть иа седло?» — подумал я, ио, протнв ожидания, это мие удалось легко. Жеребец спокойио вышел из ворот. Я чувствовал себя очеиь удобно, и уже невольная гордость подступала к сердцу, как вдруг кому-то из коиюхов вздумалось огреть Серого жичиной. Не зиаю, зачем взбрела ему в башку эта мысль и вообще зачем тут очутилась жичииа, но это роковое обстоятельство сразу измеиило картину. Подбодренный ударом, Серый побежал, а я вдруг какнм-то смешным образом запрыгал в седле, ухватился за луку, чтобы ие

упасть, и выпустил повод. Без всякого повода (и в прямом и в переносном смысле) Серый, не долго думая, повернул к ближайшей избе, самым нахальным образом остановился перед окном и ткнул носом в стекло. Любопытные физиономии прильнули к окну. Покраснев, я взял повод, повернул жеребца и... поскакал, может быть? Черта с два! Поехал шагом, тихо-тихо. Говорят, что на затылке глаз нет, но, честное слово, я видел, как сзади, у конного двора, стоят кучей и глядят на меня совхозные работники.

Проехав две версты, я попробовал перейти на рысь. но, увы, всякий раз начинал при этом так подскакивать в седле, что принужден был обеими руками хвататься за луку и крепко держаться за нее, чтобы не вылететь из седла. Серый пользовался этим, чтобы нести меня туда, куда ему хочется. Только когда он переменял свой шаг, я брал в руки повод, направлял жеребца на дорогу, а затем опять и опять начиналось все сначала.

Вскоре пришлось совсем отказаться от рыси, так как прыжки в седле причиняли мучительную боль, а не прыгать я не мог. «Неужели все всадники так же прыгают в седле? А если нет, то что они делают, чтобы не прыгать?» — думал я, да так и не разгадал тогда этого секрета. К счастью, на полдороге мне встретились те люди, к которым я ехал, и я повернул с ними обратно. Когда тарантас их тронулся вовсю и Серый затрусил за ними, я попробовал его удержать — тщетно! Рыси я не мог перенести и потому, что она причиняла боль, и потому, что она показала бы мою беспомощность. Я отчаялся, что не смогу удержать и остановить проклятого жеребца, и, когда он сильнее поскакал, почувствовал, что, стоя в стременах, держаться легче. Так я и ехал всю дорогу, разгоняя лошадь до галопа всякий раз, как она переходила на рысь. В этом было лишь то неудобство, что я не мог управлять жеребцом и по-прежнему ехал по его воле.

Я спрашивал позже моих спутников, заметили ли они, что я не умею обращаться с лошадью, и оказалось, что нет. Как бы то ни было, я вернулся в Богачевку разбитым до последней степени. Но и то надо принять во внимание, что, сев первый раз в жизни на лошадь, я проехал взад и вперед около двадцати верст,— расстоя-

ние все же солндное. Казалось мне, что в следующий раз я охотнее понесу лошадь на себе, чем сяду на нее верхом. Но наступило утро, и заглянувшему ко мне вопросительно солнцу я дал торжественное обещание в ближайшую неделю не слезать с седла и овладеть искусством езды.

Я выполнил свое обещание.

...С Серым я не сдружился, я боялся его взнуздывать (раз он укусил меня, и довольно здорово), боялся ловить его и с трудом уводил от табуна. Вдобавок у него оказалась хромота — как будто растяжение сухожилия. Поэтому я с радостью его оставил, когда Денисов, уезжая в Стерлитамак, отдал мне на время своего коня.

В этой лошади (я ее называл Маруськой) на первый взгляд не было ничего привлекательного. Маленькая рыжая кобылка, невидная; и я не за красоту ее полюбил, а за ее чудесный характер. А какой характер назывался у лошади чудесным? Она не ленива, она не требовала ни палки, ни кнута, она по движению повода и колен знала, требуется от нее рысь, галоп или только шаг. Она была выносливa; ее маленькое сердечко хорошо работало, и она могла делать перегоны по сорок верст ежедневно. Она была добросовестна и уже сама первая, бывало, никогда не остановится и не перейдет с рыси на шаг, хоть и устанет. Она была быстрая: ее маленькие ноги могли семенить очень хорошо. Она была... Но если я начну перечислять все хорошие свойства милой моей Маруськи, то не кончу никогда. Она была первой моей любовью среди лошадей, и, как первая любовь, она не позабудется. Вдобавок она ко мне относилась хорошо. Не скажу, чтобы любила меня (это было бы, пожалуй, слишком смело), но, по крайней мере, относилась с уважением: не лягалась, не кусалась, лизала мои руки, давала себя оседлать, когда я иногда оставлял ее не привязав.

Так жили мы с ней дружно, носились по степям, питались травой и хлебом — причем траву ела преимущественно она, а хлеб я,— как вдруг неожиданное несчастье свалилось нам на голову. Несчастье это, впрочем, нужно было ожидать. Вернулся Денисов и потребовал свою лошадь обратно. Вдобавок сказал, что она у меня похудела. Но это неправда, конечно, она у меня поправилась, а не похудела,— это все говорили, и потому

мне показалось еще более обидным. Лошадь была уже год закреплена за Денисовым, знала его лучше меня; директор тоже встал на его сторону. Надо было ее вернуть, но сделать этого я не мог. Я ие представлял себе, как это я буду жить без Маруськи — на ком буду ездить? Да больше мне ни одна лошадь и не нравилась. В эти дни я испытывал тоску. Сердце ныло и болело в предчувствии неотвратимой разлуки. Мне уже снова вернули нелюбимого Серого, но я потихоньку увел из конюшни Маруську, оседлал ее и уехал на самую дальнюю ферму. Дня четыре ездил, и я был счастлив. Но, увы, надо же было когда-нибудь вериуться. Вечером, приехав, я поставил Маруську на коиюшню, а на следующее утро, еще до рассвета, на ней уехал Денисов.

Но она не принесла ему счастья. Вскоре после того я встретил его на первой ферме, где у нас шло совещание.

«Где Маруська?» — спросил я его запиской, и он ответил вопросом на вопрос: «Разве она не приходила?»

Оказывается (по его рассказам), Маруська сбросила его с седла и убежала неизвестно куда, поймать ее он не мог. Поиски Маруськи не привели ни к чему. Злость меня брала на Денисова, да и он сам уже говорил: «Лучше бы оиа осталась у тебя».

Ко мне прикрепили большую сивую кобылу — настоящее чудовище, ииаче никак ее не иазовешь. Она лягалась, норовила укусить за ногу и без палки никак не шла. Правда, палки боялась как огня и шла тогда старательно, но рысь у нее была тряская, галоп ничем не замечательный. Едииственио, что ее выделяло среди других лошадей,— это громадная величина.

Когда случалось мне иногда потерять или сломать палку — а ведь кругом степь и нигде ни дерева,— она шла как ей вздумается, и ни окрики, ни мольбы не могли заставить ее изменить темп. Я тихо неиавидел ее в эти минуты. Иногда мне казалось, что она просто надо мною издевается. Но стоило мие раздобыть палку, как она внезапно вскидывала голову и мчалась, даже не дождавшись моего поиукаиия или удара. Хитрая была, бестия! Я стал серьезно подумывать о замене и подыскивал на фермах подходящую лошадь. Миого лошадей было лучше Сивухи, ио я ие брал их, хотел разыскать самую лучшую, с тем чтобы потом больше уже не менять.

Но вот все-таки счастье мне улыбнулось. На ферме Бурли, зайдя в отсутствие конюхов на конюшню, я начал осматривать и проверять всех лошадей. Мое внимание привлекли две лошади: вороная, со звездой на лбу, и бурая, с каштановой гривой и блестящими-блестящими глазами. Сел я на вороную и сейчас же слез, плюнув: рыси у нее ни капли не было — какие-то заячьи прыжки. Сел на Буруху и тронул повод. Я не понукал ее, со мной не было даже палки. Несмотря на это, лошадь неслась с горящими глазами и, видя, что я ее не останавливаю, перешла на галоп. Неслась она быстро, как птица, куда быстрее Маруськи, и при этом рысь у нее была удивительно мягкая. Без седла, следовательно, не имея возможности пружинить, я сидел, однако, на спине лошади как на стуле и совсем не подскакивал, если упирался коленями. С трудом остановил я разгорячившуюся Буруху. Кровь прилила к лицу. Радость захлестнула меня: «Вот, вот она!» — отстукивало сердце. Я просто не понимал, как такая лошадь могла попасть на ферму, а не на центральную конюшню? Да и на ферме почему она была не за управляющим, и не за агрономом, и не за зоотехником,— лошадей их я знал, и знал, что Буруха не закреплена ни за одним из них. Что за слепота? Может быть, Буруха недостаточно вынослива?

Я осмотрел кобылу и не нашел в ней никаких дефектов (хотя слишком мало в этом понимал).

Привязав лошадь, я отправился на ферму с твердым решением во что бы то ни стало эту лошадь взять. Ни управляющего, ни заместителя в это время на ферме как раз не было. Я пошел к конюхам. Конюхи, оказывается, Буруху знали и ценили и поэтому к моей попытке взять ее отнеслись неприязненно (они стерегли на ней лошадей).

— Хотелось бы ее взять немедленно!

— Освобождена,— заявили они.

— Как освобождена? Она нездорова?

— Значит, нездорова, если освобождена.

— Кто освободил?

— Редин.

Я пошел к Редину... *

* На этом очерк обрывается.

В пути

Сегодня вьюга бесится,
ехать не велит,
Мерин мой игреневый
ушами шевелит.

— Ты что, овес-то даром ел
по целому мешку?
Давай, давай прокатимся
по белому снежку!

Чтобы глаза заискрились,
чтоб ветер щеки жег,
Чтобы снежинки вихрились
в переплетеньях ног...

Кого, скажи, пугаешь ты,
косматая метель?
Мы все здесь люди взрослые,
нет маленьких детей.

Нам все равно, голубушка,
хоть вой ты иль не вой,—
Твой голосок пронзительный
мы слышим не впервой.

Среди снежинок шелковых,
в нагроможденье скал,
Я только здесь нашел себе,
чего всю жизнь искал...

Ты что прижался, слушаешь,
мерин, мою речь?
А ну, рвани как бешеный
метелице навстречь!

Я все-таки, товарищи,
жалею горожан:
Стоят машины сложные
у них по гаражам.

Там иглы, карбюраторы,
и черт их разберет!

А мы помашем палкою —
н движемся вперед.

Скорость, иаправленне
и качество езды
Легко мы регулируем
прн помощн узды.

Тяжелое чудовнще,
пузатый автобу́с,
Он был бы здесь, в ущелнях,
обузой нз обуз.

Скажн мие: он проехал бы
ну вот на этот стог?
Конечно, не проехал бы,
ои сразу тут бы сдох!

А с поршнямн и с кольцамн
возился человек,
Он не смыкал над книгамн
своих усталых век.

Ои думал над машннамн
десяткн тысяч лет...
Такнх, как мой игреневый,
еще покамест нет —

С такой вот теплой кожею
н гривою коня,
С такой вот хнтрой рожею,
глядящей на меня.

И вот он снова мчнт меия,
нисколько ие устав,
Опять мелькает в воздухе
скакательиый сустав.

И все уже ненужное
я стряхиваю с лет,
И вьюгою за саиками
заравнивает след...

Из записной книжки

Неоконченные стихи, заготовки

* * *

Ты, ветер! Листву подо миой вороши
Свежее и апельсиииее.
И шорох хорош, и кусты хороши,
И иебо синее-сииее.

* * *

На рельсах поезд сердится,
Ои хочет ехать
по лесу.
Свое ои хочет сердце
Страие отдать
иа пользу.

* * *

С коровами хочу вставать
С утра, ие иежась,
Чтоб только почувствовать
Эту свежесть.

* * *

Ну, как тут ие думать
о девчоике,
Как коротать одииокие
ночки,
Когда деревья распускают
печеики
Или, как их правильио,
почки?

* * *

Весна на Урале,
раскаты тревожные.

* * *

Цветущие ветки
железнодорожные.
Поющие птицы
из дюралюминия...

* * *

Хотя платок и был надушен,
Он оставался равнодушен.

* * *

В этом отделе
стихи хромоногие
Расположены
по хронологии.

* * *

И песни киргиза
Теперь выходят
в издании ГИЗа.

* * *

На гумне я
лежу на брюхе,
Не боюсь мокроты и росы,
Полосатые
в клеточку брюки
Вероломно сменив
на трусы.

* * *

Он этим штыком
напишет дату

Революции
    пролетариата.

* * *

Ромашки перевянули,
Желтеют зеленя.
Избушки деревянные
Косятся на меня.

* * *

Вожу по театрам,
Дарю шоколад,
Но дело никак
    не идет на лад.

* * *

Серый сад
    трясуч и шаток,
Сучья стали
    старенькие.
Тише, слышен шепот шапок
В крошечном кустарнике.

* * *

Это все же огромное чудо,
Даже в наш изумительный
    век.
Как же так? Почему?
    Откуда
Появляется вдруг
    человек?

* * *

С надеждой
    в сквере ждать любовь
или с любовью ждать
    Надежду?

* * *

Как, кажется, ни
    пичкали,
А выросли
    спичками.

* * *

Говорил, вино лакая:
«Ненавижу кулака я!
Я его бы кулаком,
Только вызовут в райком».

* * *

Красная Пресня —
прекрасная песня.

* * *

И колючими, как хвоя,
Звездами обросшее,
Синее,
        пороховое,
                тревожное,
                хорошее
Небо...

* * *

От кого это зависит,
Комсомольцы, отзовитесь!

* * *

Я власти Советов
        хочу помогать,
Грудью идти на врага,
По первому знаку
        возьму томагавк,
Надену противогаз.

* * *

Мы снова слышим бури
        качанье,
Переливы ветра и флага.
Нас снова земля встречает
Тяжелой ночною влагой.

* * *

Нет, мы недаром
иа полном ходу
Несемся —
шестая часть света!

. . . .

Студеиты!
деритесь
за чистоту
Состава
иовых Советов!

* * *

Людеиыш крохотиый и жалкий,
Как ои беспомощен, как мнл!
Как ои глядит иа этот яркий
И незиакомый ему мир!

* * *

На дворе,
в избе,
на улице
Крой,
ходи,
вознсь,
спеши,
Чтобы каждый
стук твой пульса
Был бы стуком
в жизнь!

* * *

Большевнстская
эта
вторая весна —
Я вндел ее
иа равииных Урала.
Оиа мие трактором
в уши орала,
Она зачастую
лишала сна.

* * *

Так, роясь в наследии
черновиков,
Я видел в них строчки
грядущих веков.
В метафорах бился,
как в молниях, мозг,
Но сладиться с песней горячей
не мог.

* * *

Исчертит
кружками
рабочий класс
Пустыни
Российской карты.
Но для этого
нужен
опытный глаз,
Для этого
нужны
кадры!

* * *

Пускай тебя рекомендует пятилетка,—
Она партийка с пятилетним стажем.

* * *

Мою любовь
и мою грусть
Давно ты знаешь
наизусть...

* * *

Мне борьба поможет
быть поэтом,
Мне стихи помогут
быть борцом.

Чекмарев С. И.

Ч-37 Стихи. Письма. Дневники.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.— 208 с. (Всероссийская серия «Мужество»).

В пер.: 60 к. 50 000 экз.

В книгу входят стихн, дневники, письма комсомольца С. Чекмарева, погибшего в 1933 году.

ч $\frac{70803-004}{М158(03)-82}$ 4803010102 — ББК 84Р7, Р2

Текст печатается по изданию: Сергей Чекмарев. Была весна...— М.: Молодая гвардия, 1978.

Содержание

ИБ № 1042

Сергей Иванович Чекмарев
Стнхи. Пнсьма. Дневникн

Редактор М. А. Федотовсквх. Художннк М. П. Сажаеа. Художестаенный редактор О. И. Журавлеаа. Технический редактор Л. М. Голобокова. Корректоры Л. Я. Витязеаа н М. А. Казанцеаа.
Сдано в набор 18.05.82. Подпнсано в печать 13.10.82. НС 14286. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 10,9. Усл. кр.-отт. 12,6. Уч.-изд. л. 11,2. Тнраж 50 000. Заказ 279. Цена 60 коп. Средне-Уральское книжиое издательство, Свердловск, 620219, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-аа «Уральский рабочий», 620151, Свердлоаск, пр. Лениpа, 49.